

Ольга ШИЛЕНКО
**ЧТО ПРИСНИЛОСЬ
 ИССЫК-КУЛЮ**

Роман в рассказах

Продолжение. Начало № 1, 2025.

ВОЗРАСТ БУРЬ

Другая раса

Как-то довелось мне провести новогоднюю ночь в одном купе с двумя странными женщинами. Одна по виду шефиня, маленькая, сухая, зловатая, с хищным ястребиным личиком, другая – приятной наружности, подчинённая, душечка, заглядывающая всё время в рот начальнице. Явно притворно выдающая себя за феминистку в угоду шефине. Что-то подсказывало мне, что не может такая зрелая, но всё ещё красивая дама быть мужененавистницей. Уж кто-кто, а она-то наверняка повидала на своём веку и розы, и слёзы мужского обожания и поклонения. Уж больно холёная внешность и добродушие редкое. Любят такие кокетки мужчин до старости. И мужчины по ним сохнут. С чего бы ей, сладко пожившей и мягко отоспавшейся на сильной мужской руке, играть такую странную роль? – подумалось мне. Да и переигрывает она явно. А то и вовсе забывает играть. Разве станет мужененавистница в поезде подправлять маникюр и красить губы? А серьги, а туфли на шпильках в таком-то возрасте! Ради кого всё это, если не для мужчин? Да и на ресницах, если честно, туши многовато, к чему такие страдания? – снова подумалось мне. Видно, зарплата хорошая, балует её начальница. Чего б не подыграть в таком случае?

Вскоре за праздничным бокалом шампанского и вправду выяснилось, что женщины эти из клуба феминисток, а шефиня возглавляет какой-то богатый крупный фонд. Почудилось даже, что меня пытаются завербовать на предмет единомыслия, столько уж свалилось на мою голову сразу: и о притеснении женщин, и о войне полов, и о коварстве, и о цинизме мужском...

Делать нечего, сижу – киваю. Подшучиваю. У всех своя правда. Что уж там говорить – много правды! Оживилась я и, чтоб ещё интереснее стало, тоже прикинулась феминисткой: а вдруг что интересное услышу.

Поддакиваю. Улыбаюсь. Та, которая маленькая, с ястребиным личиком, первая разоткровенничалась – мол, мужчины – это животные, низшая раса, другая цивилизация. Их и рождасть-то надо и воспитывать как рабов. Как у термитов, мать – королева, крылатая, неприступная, всё остальное для неё – рабы, мясники, воины, строители. И... подальше, подальше их от себя, ведь наизнанку выворачивает от одного только их з-запаха... не-на-ви-жу!

– А я их и вообще сроду терпеть не могла, – неестественно весело подхватила её подопечная. – Сколько уж их за мной охотилось, – мутило меня от них. То уши хрящеватые в ворсинках увижу, то ноги кривые, то ноздри вывороченные. Ой, да что там говорить, – один другого козлее. Ни одного лица человеческого за всю жизнь не увидела. Обратни. И это ещё только начало вырождения. Скоро совсем мужчин не останется. Не бабоман, так дерьмофродит, не дерьмофродит – так нарцисс прилизанный. Тьфу!!!



– И что же, неужто так никого никогда за всю жизнь и не любили? – не поверила я, открыто всматриваясь в приятное, вдохновенно выгоченное природой лицо.

– Отчего же! Собак я люблю... люблю собак больше жизни, – смутилась красивая. – Слов нет как люблю, больше отца с матерью, даже больше себя самой!

– Ну-у! Это уж, знаете, подозрительно, – снова не поверила я. – Неужто больше жизни? За какие такие подвиги? За что?

– Та ни за что! Мужа они мне моего напоминают. Смешные, – забыв о своей роли, с неожиданным простодушием, выдала себя с головой притворщица. – Особенно когда какая из них косточку грызёт, зараза! Так сладко жмурится, без слёз смотреть не могу... А, Коль?! Ты спишь?.. Я вот в дорогу каждый раз индейку зажариваю. В поездках аппетит зверский. Особенно по ночам. А, Коль?.. Ты спишь?..

Она вскинула враз потеплевшие глаза на верхнюю полку, где спал румяный лысый толстячок с младенчески счастливым выражением лица. Сладко поскуливая сквозь дрему, он приоткрыл бледно-синий смущённый глаз и, вероятно, от конфуза после всего услышанного, перевернувшись на другой бок, снова притворился спящим и захрапел.

* * *

...Сладко спал румяный Коля и уже не слышал страшноватую историю о том, как шефиня-мужененавистница отсидела свои молодые годы в тюрьме за убийство своего первого и последнего в жизни мужчины.

– А дело было так, – понизив голос, рассказывала дама с ястребиным личиком. – Жили мы поначалу с мужем очень даже неплохо, если не считать его несколько мерзопакостных привычек, которые, мне казалось, легко исправить... Не разрешал он стирать его носки, но и сам не спешил это делать... Бывало, убираю в доме и нахожу целлофановый мешочек с этим добром. Развяжу, а там! Мало того, что носки колом стоят от грязи, но их много, и смердят они страшнее атомной войны!.. Спрячу я этот ужас на место, глядь, а под ванной ещё один мешочек, и под кроватью такой же!

Но это ещё не все. Не разрешал он выбрасывать старый хлам: газеты, коробки, тетрапакеты, тару пластмассовую... Нагромождал из них башню, потом накрывал мятой тряпочкой и делал следующую.

Не прошло и года, как дом наш захламился и стал напоминать мусорную свалку... хоть башкой бейся! А убирать не разрешает: «бохатство»! Стоит на смерть за это «богатство» и от волнения начинает сосать свой червивый зуб. Читает, смотрит телевизор, красный, как рак, одновременно что-то пописывает... И посасывает свой дырявый зуб, громко так посасывает, посвистывает. Точно нервы мои через уши вытягивает.

...Ну и разразилась у нас с ним война.

Как-то раз не выдержала я: постирала все его стоячие носки, выкинула на помойку газеты, свёрточки с обрезанными ногтями и прочее «бохатство».

Сидит он, посасывает свой зуб и ядовито так цедит мне, что ногти надобно сжигать, а устаревшая пресса в доме не помеха, а коробочки пригодятся. Мол, да! – он – Плюшкин, Гарпагон, но носки собирался сам постирать, и почище...

Я ему слово. Он – сто. Я ему по-хорошему, а он с кулаками. Глаза вращаются, уши ходуном ходят... И громко сосёт, сосёт свою дырку в зубе, будто мозги мои высасывает. Посвиркивает. Как... по ушам дрелью! А на затылке у него – бородавка с наростами, пупырчатая...

Схватила я молоток... Дальше не помню. Не верила следователю, что я способна на такое. Но улики мне предоставили неопровержимые.

С тех пор нашло на меня затмение и не проходит ни в какую, потому как любить их нельзя... А если ты любишь, носи свой тяжкий крест, не ропщи.

И Слава тебе, вечная мученица – Ду-урочка!..

Мост монаха

О том, что в наших горах жил в пещере таинственный монах отшельник, мне много рассказывали в детстве. Но факт, что монах жив до сих пор и его неприступная пещера обнаружена знакомым профессором института, поверг меня в изумление.

О своей любви к обыкновенной цыганке он поведал мне сам. И я рассказываю эту историю так, как если бы сама была свидетельницей событий, не верить которым у меня нет оснований.

* * *

Он понял, что смертельно любит эту женщину, когда впервые услышал её неземной голос. Она пела романс об отцветших хризантемах в паре со своим мужем, старым профессором, оболстительная и сверкающая, черно-волосая, с длинной, как у Нефертити, шеей.

«Что ты со мной делаешь, что ты делаешь!» – мысленно кричал он ей, не в силах отвести глаз от её страшной тёмной красоты.

Первая мысль – убить счастливого соперника – обожгла его своей простотой и грубой ясностью.

К тому времени он уже имел славу спортсмена и восходящей звезды в прямом смысле этого слова: последний раз он сделал восхождение на Джомолунгму.

«Убить можно ведь и косвенно, – внутренне содрогнувшись, опомнился он. – Разве не является убийством моральное разложение, распад личности, её глубокое падение?»

Он пристально взгляделся в соперника. Длинноватые руки орангутанга и лысоватый череп профессора выдавали в нём страстного самца и тонкого ценителя красоты. В нём могла таиться гаремная болезнь и масса порочных фантазий, приглушённых любовью к жене, с которой, если верить слухам, у него всё только началось.

Обладая острым умом и незаурядной внешностью, альпинист очаровал соперника в считанные дни, завязав с ним нешуточное деловое партнёрство. Оказалось, профессор был тоже «болен» горами. Других слабостей в нём не существовало.

Не прошло и двух месяцев, как прославленный альпинист вошёл в дом профессора на правах лучшего друга и незаменимой палочки-выручалочки на все случаи жизни.

Он ошарашивал жену профессора изысканно составленными букетами роз и гербер, придумывая потрясающие названия своим композициям: «Снег и розы», «Ночная Венера», «Волосы Вероники». Он занимался художественной ковкой и дарил ей серебряные браслеты, в которые вставлял зелёные нефриты, бирюзу и яшму, прекрасно чувствуя, что эта колдунья с мистически-зелёными глазами любит именно такие камушки.

Когда он понял, что лёд её сердца почти растаял, он уже знал ахиллесову пяту профессора. Старик был доверчивым неисправимым романтиком, однолюбом и ценителем хорошего французского вина. Вдобавок, несмотря на

свою тучность, он всё ещё продолжал мечтать о пещерах Сим-Сима и осенней красоте увитых багровым плющом скал.

Альпинисту ничего не стоило однажды за бутылкой бургундского заворожить профессора своим рассказом о пещере Монаха, жившего некогда в горах где-то по ту сторону Хан-Тенгри, о его ещё якобы шумящих орешниках и малине, которые он когда-то давным-давно развёл с юго-западной стороны скал. По словам альпиниста выходило, что если они отправятся туда часа в три утра, то к вечеру уже сумеют добраться до пещеры. А там, переночевав и набив полные рюкзаки орехами, вернуться к полуночи, если не раньше, ведь на спуск уйдёт ненамного больше времени. Прогуляться, дабы взглянуть на ещё не истлевший топчан и стол отшельника, за которым он писал свою книгу и пил самодельное вино! Это привело профессора в восторг. Пообещав своей даме сердца вернуться с полными рюкзаками диких даров ущелья, мужчины улеглись пораньше, и она даже не услышала, когда они вышли из дома.

По расчётам альпиниста выходило, что к пещере Монаха они доберутся к сумеркам, и профессор, простодушно растративший силы на безудержную болтовню, был явно разочарован, когда услышал, что им придётся заночевать под открытым небом, ибо, хотя до пещеры было рукой подать, но, во-первых, они устали, а, во-вторых, идти по узкой тропе над пропастью становилось всё опасней из-за сгущающихся сумерек и внезапно подувшего холодного сырого ветра, от которого всё время слезились глаза.

– Ну что ж, привал так привал! – вздохнул профессор, с облегчением сбрасывая с себя рюкзак.

– Впрочем, если вы не боитесь, то мы можем пройти к пещере напрямик – через речку. Где-то здесь неподалёку есть узкое место, через которое перекинуто бревно. Его называют мостом Монаха. Думаю, бревно не сгнило с тех самых пор, когда я был здесь в последний раз.

Альпинист взглянул в доверчивые, наивно-круглые глаза профессора и, не увидев ни тени колебания, фальшиво заулыбался.

– Ну что, рискнём?

– А как же! – с простодушием ребёнка кивнул профессор и поднял рюкзак. У альпиниста ёкнуло сердце: «Неужели всё так просто?»

Он знал, что бревно было способно выдержать пару таких тяжеловесов, как профессор, однако помнил и другое – это была его тайна, о которой ведал только он: после обильного таяния ледников и половодий в последние годы противоположный выступ, на который был перекинут другой конец бревна, давно подмытый выходящей то и дело из берегов рекой, держался только за счёт корней барбариса и огромного валуна, упёршегося в эти корни. Пара резких движений – и смещённое немного к краю бревно, изменив центр тяжести, сорвёт валун, увлекая за собой пласты выступа вместе с бревном...

– Выше нос, профессор, до пещеры рукой подать, – сияясь перекричать рёв бешеного потока, подбодрил альпинист и, первым ступив на мокрое бревно, упруго покачавшись на нём, постучал носком кованого башмака. Бревно глухо загудело. Его уже начинал разъедать зелёный грибок, и всё же оно казалось ещё очень прочным.

– Всё в порядке! Можем двигаться! – закричал альпинист и медленно пошёл по бревну. Он шёл и снова каким-то шестым чувством чуял этот балансирующий упёршийся в жидкие корни валун, готовый сорваться в любую минуту.

Он вздохнул, благополучно очутившись на другом краю пропасти, и оглянулся. Профессор, как ни странно, оказался куда проворнее, чем он ожидал: шёл бы-

стро и неосторожно, с безумной отвагой неосмотрительности, совсем не боясь высоты, буквально наступая ему на пятки. Альпинист и глазом моргнуть не успел, как профессор с благодушной миной ринулся на него, чтобы пожать ему руку.

– Бревно не Боливар, и могло не выдержать двоих, профессор, – зловеще процедил альпинист, и в его глазах впервые сверкнул дьявольский холодок, от которого профессору стало не по себе. Он попытался отшутиться и натянуто улыбнулся, отгоняя медленно заползающее в сердце предчувствие.

Здесь, с подветренной стороны скал, было куда теплее и уютнее, к тому же до пещеры Монаха теперь было действительно рукой подать, а ветер выл и навистывал где-то слева, чуть выше.

«Ничего, это произойдёт на обратном пути», – подумал альпинист.

Через полчаса они уже сидели под сводом пещеры у костра и мирно пили чай с бубликами, которые собрала им в дорогу Гитана – так звали виновницу злосчастного похода, в котором альпинист вдруг ощутил себя ещё несчастнее, ещё одиноче и подлее, чем накануне, когда задумывал коварный план убийства соперника.

– Вы любите её? – после целой паутины окольных, обтекаемых фраз о жизни, осторожно вызвал он профессора на откровенность.

– Эту маленькую негодяйку?! О да! Кто однажды полюбил цыганку... – взгляд профессора затуманился.

– Она цыганка?! – удивлённо вскричал альпинист.

– А что, разве не видно? Три раза я разводился и женился на этой женщине, потому как после неё все дамы мира казались мне ходячими мумиями. – Он стащил с себя башмаки и, блаженно растирая отёкшие ноги, усмехнулся. – Фатальная женщина. Чего только не пришлось хлебнуть с ней. Отравы, стрельбы, крови от ножа в лёгкие. А всё люблю. Вот! – он вдруг резко задрал рубаху, обнажив следы шрамов на спине, особенно уродливых в пляшущих отблесках костра. – Меты страстей! Письмена любовных бурь и яростных баталий, так сказать... И вот что странно, наверно, всё же есть Бог на свете, или некий вселенский разум справедливости. Я ведь ни на кого никогда не заявлял, но прошло время – и ни одного врага и соперника моего нет в живых. Видать, судьба её такая – всю жизнь со мной... Как-то был на кладбище, смотрю: один ещё в семидесятых прибрался, другой... Да что там говорить...

Профессор взмахнул рукой, как бы отбиваясь от черной птицы воспоминаний.

– Про монаха-то ты мне расскажешь?

– Монах? А что монах, говорят, он всё себе тут выращивал, даже виноград. А напротив, в углу, стоял каменный сундук, там лежала его книга жизни, – мрачно отозвался альпинист. – Его местные охотники Хозяином зовут. Мрачная слава о нем ходит. Есть поверье, что не умер он вовсе. Говорят, является в сером истлевшем мешке на голове, как в капюшоне, в рясе из мешковины, опоясанный арканом... Вроде как не в своём уме. Кто знает, может, и живой.

Альпинист подбросил дров в костёр и надолго замолчал.

– Сколько же, выходит, ему теперь лет? – первым подал голос профессор.

– Лет сто, а может, больше. Шут его знает... Может, другую нору нашёл – потеплее, уж больно холодно здесь, – поёжился альпинист.

Они решили спать по очереди, чтобы приглядывать за костерком. Сначала уснул альпинист, затем его разбудил профессор, и альпинист начал своё мятежное бодрствование один на один со своим страшным вопросом: быть или не быть задуманному чёрному делу? Он долго сидел, обхватив колени руками, угрюмо-страшный в отблесках пляшущих языков огня. Образ Гитаны, прекрасный

и недоступный, продолжал преследовать его, но он уже не чувствовал в себе той силы и сурового сознания своей правоты, какие испытывал в начале пути, глядя в ненавистно-жалкий, лысый затылок соперника. Теперь, после много-часового общения с профессором, заглянув в его душу, душу невинного ребёнка, так тронувшую его своей простотой и наивностью, он уже не питал к нему ни той жгучей ревности, ни яростной зависти одинокого влюблённого самца. Напротив, сопоставив два характера, две судьбы и две сущности людей, к которым он был по-разному равнодушен, он вдруг сделал вывод, что профессор в чём-то лучше, благороднее и понятнее ему, чем Гитана, которую он, тем не менее, всё ещё продолжал любить мучительной страстной любовью.

К утру, едва слабый свет забрезжил в зияющем проёме пещеры, а в лесу раздались первые голоса птиц, альпинист резко поднялся с нагретого места и, решительно направившись в сторону моста Монаха, вдруг застыл как вкопанный.

– Хозяин?! – сдавленно и удивлённо вскрикнул он.

И слабое эхо прокатилось под сводами пещеры:

– Я... я... я... я... я...

Светало. Разбуженный странным вскриком напарника, профессор ещё немного подремал и, с трудом разлепив веки, встал. Он вышел из пещеры и пошёл в ту сторону, откуда почудился голос альпиниста.

– Макс! – крикнул он.

И неточное отрывистое эхо тотчас отозвалось где-то рядом:

– А... а... а... а...

– Надо же, как рано поднялся, – одобрительно подумал профессор и вдруг замер. Дикая и девственная красота таинственно-грозно и величественно царилла вокруг. Действительно, всюду мерещилось незримое присутствие некоего Хозяина с его раз и навсегда установленным порядком, размахом угодий и размеренным укладом стихий и гармоний жизни. В отличие от суетного мира людей здесь властвовала музыка тишины и медленно текущей реки Времени.

«А орехов здесь и правда – тьма», – снова подумал профессор и, отогнав тревожные предчувствия, принялся за дело, намереваясь набрать полный рюкзак. Он забылся и, время от времени аукая альпинисту, набрёл на рясные заросли маличника монаха. Так он проплутал почти до полудня и очень удивился, когда, вернувшись к пещере, понял, что альпинист ещё не возвратился. Не появился он и тогда, когда солнце перевалило за полдень.

Не на шутку встревоженный и растерянный, с гулко бьющимся сердцем, устав чертыхаться и аукать, профессор засобирился домой.

Обходной дороги он не знал и решил рискнуть снова, направившись в сторону моста Монаха.

Однако, когда, тяжело дыша и озираясь по сторонам, он поднялся по узкой тропинке к выступу, где ещё вчера прочно покоилось переброшенное через ревущий поток бревно, он застыл как вкопанный, не увидев ни того ни другого. На минуту ему показалось, что он заблудился. Но мощный вывороченный пласт выстуга, отломившись, оставил сырой зияющий след в горе и, щерясь и змеясь жёлтыми корнями барбариса, смотрел ему прямо под ноги. Страшная мысль, что знаменитый альпинист рухнул в пропасть, застала его врасплох.

Домой профессор вернулся через сутки, проплутав зря в тщетной надежде найти товарища. Позвонив альпинисту домой, он, как и следовало ожидать, натолкнулся на глубокую немоту на том конце провода. Запаниковав, профессор обзвонил все мыслимые и немыслимые инстанции и, снарядив небольшую поисковую группу, наутро отправился назад к пещере, где нашёл

лишь пару оставленных ими рюкзаков, один из которых так и стоял наполненный почти доверху орехами.

Результаты двухнедельных поисков ничего не дали, кроме клочка знакомой ветровки, найденной, как ни странно, в противоположной стороне от рухнувшего бревна. Это навело на мысль, что альпинист вовсе не сгинул в бурном потоке, а пошёл дальше вглубь гор по направлению к югу, и это было ещё безнадежней, чем искать иголку среди песчаных барханов пустыни.

Берег неуганых птиц

Мою троюродную сестру и несостоявшуюся утопленницу Наташу Свистуну спасёт мужчина с катера под звучным именем «Кондора».

Кто только это придумал, что спасатель непременно должен полюбить спасённую им утопленницу! А она – его...

Зачем красивая, в цвете лет женщина бросилась в воду, вернее, как она попала за борт катера и почему сразу колом пошла ко дну, Наташа так никому и не рассказала.

А он, ловкий и сильный, бронзовый от загара, единственный, кто всё видел и понял, не спрашивал про её тайну.

Обольстительный и мускулистый, спасатель неотрывно смотрел на неё, зеленоглазую и мокрую, точно русалка, и загадочная улыбка Мефистофеля играла в уголках его тонких, красиво изогнутых губ, пока она не пришла в себя.

– Итак, вы мой искуситель, мой краткий сон на берегу неуганых птиц?! – сказала Наташа с плохо скрытой иронией в голосе, встала и ушла не оглядываясь.

Бес-искуситель оказался полным антиподом её мужа. Это был голубоглазый иностранец русского происхождения с вьющимися седыми волосами, высокого роста, красивый и, кажется, очень богатый.

У Наташи закружилась голова. Таинственно-смутный и мелодичный звук, раздавшийся словно из глубины парка, причудился ей и, медленно возрастая со всех сторон, завис странным потусторонним выдохом ветра. Могучее «АХМ!» раздалось из сырого мрака, поднялось в небо и вместе с карканьем ворон вернулось в подземную темноту. Лето кончилось.

Он пришёл к ней на следующий день как к искусствоведу-эксперту и предложил немислимую, по её понятиям, сумму за каждую консультацию.

Наташа, оглушённая неожиданной удачей, согласилась и работала легко и вдохновенно, оживляясь при каждом его визите, словно выигрывала миллион.

Гость никогда не приезжал без цветов и коробки дорогих сладостей.

– Вы меня балуете! – вскрикивала Наташа.

– Ах, что вы, что вы, это вы очень добры ко мне! – возражал гость, нежно целуя ей руку, благоухая, постанывая в непонятных междометиях и ухмылочках.

От него пахло морем, субтропиками, цитрусами и пронизывающим кости холодом. И тем не менее, несмотря на этот непонятно откуда сквозящий холод, искуситель, кажется, всё сильнее и сильнее влюблялся в неё. Это чувствовалось в его глубоком, словно засасывающем в синюю бездну взгляде.

Как всякой нечистой силе, ему было плевать на её многолетний брак, семейную гармонию, заботливого мужа и её равнодушие к чужим мужчинам. Его чары заставили Наташу, забыв всё, почувствовать себя свободной девочкой, купить красивые маленькие чёрные платья и даже сделать стрижку под мальчика. Один он знал, что творит в её невинной по-младенчески не-

искушённой душе. Наташа то вдруг краснела, то становилась неестественно задумчивой в его присутствии, конечно же, была очень польщена его готовностью играть любую роль: роль слуги, роль извозчика, роль телохранителя. Его чёрный опель в любой момент был у её ног, а сам искуситель скромной тенью сопровождал её в самые разные места, будь то иностранное посольство, выставки или парикмахерская.

И... он всё настойчивее заводил разговоры про любовь, поверяя ей тайные гнусности мужской души.

– Нет, нет и нет такого мужа, который не изменил бы своей жене, – вкрадчиво цедил сквозь зубы искуситель. – Нет такого мужа, который не мечтал бы о другой, даже в момент соития. Что делает твой супруг в порыве страсти ночью, когда жарко обнимает тебя?!. Он представляет тебя пышной блондинкой с фиалковыми глазами. Или... маленькой гибкой китаяночкой, которая умеет то, чего не умеешь ты. Не обольщайся, милая, его сладкими речами и самыми нежными признаниями, возможно, как раз в этот самый момент он воображает, что ласкает... Тебе назвать имя его любовницы?!!

Пойдёт дождь. Наташе снова почудится нарастание странного звука-шелеста со смутными раскатами карканья и эха неведомого хора, завершающегося потусторонним и зловещим выдохом «АХМ!».

Но гость снова вернёт её на ледяное острие своего голоса.

– ...Ты слишком хорошо думаешь о мужчинах. Дитя моё, многие из нас в момент любви с женою-ангелом представляют себя в объятиях необузданных креолок, безобразных австралиек, диких папуасок и... маленьких м... м... Э, да что там!.. Не понимаю, на кой черт вы вообще сдались своим мужьям, если ваш с виду благообразный город на каждом углу кишит пританцовывающими от нетерпения юными содомистами?!

Острый запах серы неумолимо сочился в пространство. Станный звук возвращался. А под туфлями гостя отчётливо чудились пританцовывающие копыта.

Однако не в силах противиться наваждению, невинно-шутливому тону гостя и бесподобной улыбке, обнажающей то и дело обворожительно-сахарную кромку зубов, Наташа словно в полубомороке продолжала внимать чертовщине, похожей то на сокрушительное торнадо, то на чавкающую змеиную трясику.

– ...Ты, конечно, думаешь, он любит тебя, твой муж, твой заботливый рыцарь? Хо! Надень на миг лицо падшего херувимчика и помани его пальцем при определенных обстоятельствах... К-х-х-х... Его откровения навсегда охладят твой пыл и веру в мужскую любовь и святость. И ещё... ещё... дыши глубже!.. Хочешь я поведаю тебе ещё одну мужскую тайну?..

Иногда пелена наваждения падала с её глаз, и Наташа, нервно прищурясь, спрашивала его в лоб:

– Скажите, вы агент ЦРУ? Сколько вам платят за пропаганду падения нравов и растление душ в нашей стране?!

– Думай как хочешь, – холодно усмехнувшись отсутствующим взглядом и с ещё более отсутствующим выражением лица отрезал гость и непроницаемо долго смотрел на неё как на милое, но жалкое существо из параллельного мира.

– Я полагаю, тысяч двадцать в месяц вы зарабатываете?! – всё ещё трезвая от шока и отвращения, бросила Наташа.

– Пятьдесят тысяч долларов в месяц!!!! Плюс десять миллионов по истечению контракта! – сладострастно возразил гость, не скрывая торжества в голо-

се. – Моя новая русская жена, которую я хочу найти здесь, никогда не будет нищей. Я подарю ей дома и роскошные квартиры в разных городах света. Не говоря уж о шедеврах мировой живописи, драгоценностях и машинах ручной сборки. Кстати, ты хотела бы иметь изумруд размером с лебединое яйцо?! – В его глазах сверкнули жёлтые искры. – Изумруд такой чистой воды и изумительной огранки, за которыми вся иллюзия бессмертья и вечности... Самый истинный и магический философский камень... Самые могущественные чары земного царства!..

Искуситель медленно и терпеливо делал своё дело.

Он предложил ей руку и сердце, дом на берегу моря в Австралии и квартиру в Нью-Йорке в центре Манхэттена.

– Не говори «нет». Подумай! – воскликнул он. – В конце концов, что ты теряешь? Старого мужа, который давно не любит тебя, ведь ваш быт – яркое тому подтверждение. У тебя нет даже хорошей стиральной машины, я уж не говорю об остальном. Не вдохновляешь ты своего благоверного ни на что! Понимаешь, ни-на-что! Почему такой талантливый человек, как ты, не имеет прислуги?

Он проникал всё глубже и глубже в её душу и сердце. Растравляя как соль, перестав колебать струны стихий, заронил зёрнышко тоски и подарил фотографии их будущего дома на берегу моря.

Наташа отметила пышность сада и розария. Даже на фотографии были видны изысканность и капризный вкус хозяина. Розы сорта «Конкорде», шток-розы, олеандры, дельфиниумы, даурские колокольчики – разве не об этом мечтала она, мысленно рисуя свою будущую усадьбу. Конечно же, голубой бассейн, голубоглазые кошки, породистые собаки...

В мыслях Наташа попробовала распрощаться с мужем. Это было больно. Бросились в глаза незначительные мелочи быта. Немыслимые подробности житья-бытья, детали интима, привычек, пристрастий, слабостей...

Чтобы согреться, она приняла ванну, разомлела, немного замешкалась за чтением журналов, а когда, замёрзшая и дрожащая, пришла в супружескую спальню, то увидела вдруг какими-то другими, словно прозревшими глазами одну привычную старинную картину: муж, свернувшись калачиком и хлопая ресницами, большим преданным ньюфаундлендом лежал на её половине кровати, согревая своим телом холодную постель.

Он это делал всегда, когда в квартире было холодно, умиляясь от мысли, что её маленькое милое тельце только и ждёт, чтобы погрузиться в согретое его любовным теплом гнездышко.

Раньше бы Наташа ни за что не заметила этой мелочи, всё было слишком привычно. Но теперь... Теперь, когда она смотрела на всё словно чужими глазами, не только навсегда прощаясь перед уходом, но и как бы оценивая своё прошлое и настоящее, которое собралась предать, а может быть, продать за красивый дом на берегу моря и блестящий лимузин... Теперь всё это предстало перед глазами в ином свете.

В тот миг муж, кажется, снова перешивал её новые брючки. Укорачивая, она обычно подшивала брюки ровно по линейке. Он же терпеливо распарывал всё это безобразие и подшивал клинышком, по моде, чтобы было кокетливей и парадней. Споров о вкусах не было. Клинышком так клинышком.

Однако теперь она вдруг насмешливо спросила его, не рабство ли это: мыть жене сапоги, стелить стельки, подшивать брюки, хранить локоны и т. д.

– Всё это делается от великой и неизбывной любви. Да! Я твой раб! – спокойно признается муж. – Разве может быть иначе?

Спокойная сила и несуетное тихое счастье светилось в его больших тёплых глазах.

– И у тебя никогда не было любовницы?

– Клянусь! – он умоляюще приложил руку к сердцу.

– Тогда почему ты меня никогда не ревнуешь? – снова придерётся она

– К кому?! – удивлённо, с сарказмом приподнимает он очки, вглядываясь в её странное, враз утончившееся личико.

– Ну, например, к Саше Колесникову. К профессору Ларину... К... иностранцу, наконец!

– А были поводы?

– А то нет?! Один водил меня по разным выставкам, дарил книги, звонил по вечерам. Другой делал фотографии, ходил по пятам на светских раутах, посвящал стихи... Третий... У меня было достаточно вздыхателей, чтобы...

– Чтобы приревновать тебя?

Муж снова весело взглянул на свою возлюбленную и вдруг простодушно, с недоумением абсолютно совершенного человека отрезал:

– А зачем?!? Я – лучше...

Это твёрдое, как кремьен, «Я – лучше» повергло её в изумление. Самое главное, что он действительно попал в точку. Он действительно был лучше. Лучше, благороднее, честнее, простодушнее. И это его почти детское простодушье обезоружит её, даже повергнет в маленький транс. Разве мог быть кто-то лучше него?! Искуситель? Тот самый, который говорит, что любви нет и лукаво нашёптывает и нашёптывает ей грязные истории о мужской половине человечества? Не о себе ли он так подробно нашёптывает все эти неожиданные, непрощенные исповеди, полные пакостной мерзости и иезуитства? Конечно, о себе, о своём эгоизме и извращённой похоти.

Подумать только! И это чудовище уже ждёт её в красивом доме на берегу моря в Австралии! Он снова звонил ей оттуда, с немислимого конца света.

– Ну ВСЁ... Я ВСЁ для тебя сделал... – скажет он нетерпеливым нежным, почти дамским голосом. – Теперь у тебя ВСЁ пойдёт по-другому. Тебя ждёт берег непуганых птиц.

И страстно признается ей в любви, в которую никогда не верил. Наговорит кучу комплиментов, тревожных слов и опасений, что она обманет его...

Наташа впервые заметит, что русский язык искусителя, несмотря на его русское происхождение, напоминает плохой подстрочник с английского. «А ещё литератор, считает себя знатоком русской классики», – поморщится она.

Опрометчиво пообещав приехать к нему на месячишко, чтобы взвесить все за и против, она, конечно же, не могла видеть, какой вдохновенной реконструкции он подвергнет дом и весь свой домашний устоя к её приезду, как, нервничая и волнуясь, будет нанимать прислугу, менять жалюзи и мебель на кухне. С претензией на оригинальность он обставит её будущий кабинетик с окном в сад, где она, даст бог, будет снова рисовать и писать свои изумительные вещи, которые очаровали и свели его однажды с ума. Он любил её творчество, подражал ей, крал её находки, учился, боготворил. Кабинетик был козырем его реконструкции, а может быть, цели.

Ещё... он оборудует спальню в её вкусе. Однажды она обмолвилась, что если бы была богатой, то выбрала бы стиль Снежной Королевы. Всё белоснежное: стены, кровать, белье, рояль, рамы на картинах, и только на белом полу – маленькие, чёрные, редкие, как точки, квадратики. И... и... чёрный ньюфаундленд.

Он пожмёт плечами и сделает ей белоснежную спальню с черными редкими квадратиками на белом полу. В каждом квадратике золотым по черному будет

сверкать: «I love you, Natasha!» Он обставит всё это этрусскими вазами, тяжкими благородными чашами из Индии, витыми зеркалами, фарфоровыми безделушками. И добродушный черный ньюфаундленд, вымытый дорогим собачьим шампунем, лениво растянется на белой шкуре у ослепительно белого камина.

Перед Рождеством Наташа получит яркие изображения своего будущего дома по Интернету. Вся эта роскошь ошеломит и подавит её свободную спартанскую натуру.

А утром следующего дня она вдруг увидит в городских новостях фото своего иностранца. Объектив запечатлел его рядом с местной бизнесвумен, очень богатой и влиятельной в своих кругах Дамой Пик. Она была скупщицей дорогой живописи и антиквариата. Безобразная полная брюнетка, в мехах и бриллиантах, обнимала нашего искусствителя, и он, белокурый и обаятельный, казался её сыном, мальчиком-купидоном, соблазняющим Медузу Горгону.

В новостях в красках были расписаны недавняя свадьба странной парочки и громкий бракоразводный процесс, в котором искусствитель фигурировал как ловкий брачный аферист, крупный махинатор, мошенник и вор, обчистивший богатую вдову по меньшей мере на... двадцать миллионов!

Заключённый под стражу, голубоглазый оболститель, извиваясь, как аспид, отрицал свою вину. Ему даже удалось повернуть дело так, что он сам стал выглядеть пострадавшим. Дело пахло международным скандалом и чертовщиной. Оно запутывалось тем больше, чем больше старались его распутать.

Всё кончится тем, что вчерашняя, пышущая здоровьем и неукротимой любовью невеста искусствителя, а ныне обобранная, разорённая брошенка с разбитым сердцем вскрыла себе вены. И никто не сможет спасти ни её саму, ни её поруганное имя. Дьявольщина будет налицо. Однако единственное, что смогут сделать власти, – это выдворить гостя из страны...

Самым странным в этой истории было то, что искусствитель сам предоставит Наташе эти новости. Он словно гордился своими проделками, показывал ей свою ловкость и талант, свою бесовскую силу, которой не было предела и возмездия.

«И целый мир возненавидел, чтобы тебя любить сильнее!» – написал он ей. Демон цитировал Демона. Было неудивительно, что этот пришелец помнил Лермонтова. Как истинный дьявол, он знал недра всей мировой античной и современной литературы, имел звание академика и полиглота, был членом ма-сонской ложи. Мефистофель цитировал Мефистофеля.

Дальше шли чарующие парафразы, которые превращали его образ в образ ангела. Чудилось, что рядом шумело море, кричали чайки, ветер листал голубую книгу воды, превращал её в бирюзовую розу и бросал лепестки этой кристальной чистоты к её ногам...

Читая нежное послание своего искусствителя и оцепенело рассматривая окрестности у моря, где ей предстояло связать судьбу с почти незнакомым ей буржуа, Наташа запозднит у подруги и, не собираясь возвращаться домой (было уже за полночь), вдруг почувствует холод, ветер и страх, словно прилетевшие с того света. Неожиданный сквозняк, продрав до костей, словно донесёт запахи воды, скал, незнакомой травы и фруктов. Она даже вспомнит запах своего искусствителя: тяжёлый душный парфюм с ароматом цитрусовых и чужбины. Вспомнит его улыбку, искусственную, постоянную, будто дорогую вывеску на дорогом отеле, его шикарные костюмы и сорочки, подобранные с таким тщесла-вием и нарциссизмом, что её охватит озноб.

Нет! Ни за какие деньги! Ни за что её наивная душа не хотела попасть туда: на чужой лазурный берег непуганых птиц с запахом незнакомой травы, моря и конца света. И тем более в ту белоснежную спальню, в холодные объятия

своего искусителя с такими бледно-голубыми, потусторонними глазами, шепчущего ей своё: «Королева!..» Почему-то он всегда задыхался, шепча ей это слово.

Наташа представит своего уже почти покинутого мужа, который, свернувшись клубком, в позе преданного ньюфаундленда согревает своим телом их маленькое жалкое ложе и, оцепенев от ужаса, хлопая ресницами, ждёт её. Ждёт, чтобы без лишних вопросов согреть её своим теплом и этим тихим и нежным: «Дичочек... мой горный... радость моя зеленоглазая...»

«Вот он, мой Берег Непуганых Птиц!» – подумает Наташа и, покаянно всплакнув об их общей судьбе, вспомнив сиреневый май, рождение детей, всю их тихую жизнь, горести и невзгоды, вершины и падения, вызовет такси, чтобы лететь к нему, своему первому и единственному. Лететь, несмотря ни на что.

Ведь... что ни говорите, остаться радостью ангела всё-таки лучше, чем стать Снежной Королевой беса.

Ночные рейсы

Наташа Свистунова много рассказывала о своём муже, и вот, наконец, я его увидела во всей красе!

О, эти ночные рейсы автобусов по маршруту Каракол – Бишкек. Огни иссык-кульских побережий, лунные дороги на морской глади, маяки, бакены. Впрочем, а были ли маяки и бакены? Вот этого я не помню. Помню лишь водителя Икаруса и его отдыхающего напарника, молодого лысоватого, ничем не примечательного мужчину лет тридцати пяти, и рыжую девушку. Он сразу определил ей место рядом с собой, в тёмном заднем углу салона, и немедленно начал клеить её, или, как тогда говорили, кадрить.

– Десять лет езжу по этой трассе и никогда не видел таких девчонок! Откуда ты, рыжая?

Она неохотно ответила и сухо молчала, не поддерживая его балагурства, пока он не разозлился.

– Ты прямо как айсберг! Неужели замужем? Такая юная, почти ребёнок... иссык-кульская?

Она с презрением взглянула на него, наверное, подумала: «Боже, какой козливый», и холодно отвернулась. Я с интересом наблюдала эту сцену, ещё не подозревая, что это Наташкин муж.

Воздыхатель, видимо, привыкший брать неприступные крепости штурмом и без поражений, тихо начал беситься, однако, верно выбрав тактику и стратегию, примирительно начал душевные разговоры.

Как ни странно, ему удалось разговорить её. Что-то в нём было этакое неотразимое, вкрадчивое, берущее за живое. Он чувствовал это и, предвкушая скорую победу, осторожно попытался залезть ей под юбку. Номер не прошёл, и он снова, тихо бесясь и нервничая, принялся гипнотизировать её с ещё большим усердием.

Чарующая мелодия Олоферна, ласковая истерика Казановы и обольстительная ложь Дон Жуана были в его голосе. Ему накатывало за тридцать пять, а он всё ещё не верил, что магия его молодой вчерашней силы, увы, на ущербе. Неведомое ранее бессилие чар и ходов, таких проверенных, таких надёжных когда-то, удивляло и раздражало его. Сдаваться не хотелось, и он снова пошёл в атаку, применяя всё новые тайны в искусстве обольщения. Однако в юной гордой душе незнакомки было глухо как в танке. Никак не нравился ей этот суевающийся тип с бледно-голубыми круглыми глазами и профилем Сирано де Бержерака. И за что только женщины любят голубоглазых и горбоносых с наглыми длинными ртами мужиков? Как же он был ими избалован и ис-

порчен. Это чувствовалось во всём. В его взглядах свысока, в самоуверенных жестах, голосе, уж не говоря о его нетерпеливой агрессии.

В конце концов рыжей надоело убирать тяжёлую, жилистую руку со своего плеча и она сказала ему такое...

Он перестал улыбаться и, неожиданно посуровев, мстительно произнёс:

– Ты, конечно, необыкновенная девушка и наверняка мнишь себя королевой, но вынужден признать, что есть лучше!.. Особенно из наших мест.

– Так в чём же дело? Далась я вам! – нервно вскинулась незнакомка.

– Хочу сравнить и ещё раз убедиться, что лучше моей любимой жены Наташи Свистуновой никого нет!

– О!.. Не хотела бы я быть на месте вашей жены, – желчно хохотнула девушка. Тощая и сохнувшая от любви к другому, она, тем не менее, не скрывала безразличности.

И я тоже, в свою очередь, ошеломлённая своим открытием, затаившаяся в своём соглядатайстве, вдруг пойму, что Наташкин муж вовсе не ангел, каким она его себе представляет. Я тоже не хотела бы быть на месте его жены.

Мало того, мне было стыдно за подсмотренную сцену. Быть женой такого Сатира? Не завидую.

– Зря! Жена у меня крас-сивая, как голубка! – с искренней сладостью в голосе произнёс он.

– Ох и фарисей же вы! – не поверила рыжая.

– Это правда. Ты её ещё увидишь, – холодно и уже невозмутимо сказал он, в мгновение ока отдаляясь на расстояние космической пустыни.

Спустя час, когда рыжая незнакомка уже совсем забыла о своём маленьком дорожном приключении, на заплёванном автовокзале города Рыбачье Икарус остановился, и вошла Она, та самая, красивая, как голубка, моя сестра Наташа.

Приняв у жены тяжёлый футляр (неужели с виолончелью?), он бережно усадил её на переднее сиденье и чинно уселся рядом.

Рыжую давно уже клонило ко сну, и она вряд ли могла заметить, как её недавний поклонник вдруг остепенился, посерьёзnel, стал казаться старше и вроде даже благороднее, выше ростом. Лицо его приобрело какое-то домашнее озабоченное выражение, смягчилось и просветлело до неузнаваемости. Теперь он казался даже немного симпатичным. По всему было видно, что он любил свою жену, и ещё как! Наташа была действительно нереально красивая женщина, словно сошедшая со старинных рождественских открыток с ангелочками и херувимами, с бессмертными надписями типа: «Люби меня, как я тебя»... Что-то и впрямь голубиное и кроткое было в её внешности, а первые признаки начинающейся полноты делали её просто божественной.

Козлистый муж, похожий на сатира, в течение всего оставшегося пути ни разу не взглянул на юную незнакомку, корча из себя агнца. Не ответил он и на тихие слова прощания, когда та выходила из автобуса.

И всё же, когда, выйдя за ней вслед, он открыл боковые ниши багажника и рыжая наклонилась за чемоданом, он успел позволить себе такую... такую вольность, какую мог позволить только самый козлоногий из козлоногих. Ах, видела бы только его голубка! При этом у него было такое невинное лицо, словно он играл роль подставного болванчика. «Так, ничего особенного, – нагло смеясь, ликовали его бесстыжие глаза, – случалось в жизни кое-что и похлеще, не правда ли?» Я притворюсь спящей.

И вдруг его бесшабашную улыбку сдуло как ветром. Он побледнел, скукожился и в мгновение ока из хозяина жизни превратится в сказочного персо-

нажа Карлика-носа. В автобус проследовали два милиционера. Через минуту они вышли с Наташей, вынесли её тяжёлый футляр и в присутствии понятых открыли его! Внутри лежала, увы, не виолончель, а контрабанда, весом, этак, килограмма на два.

По тому, с какой яростью опарашенная Наташка налетит с когтями на мужа, было ясно, что она ни сном ни духом не знала о том, что лежит в футляре.

– Негодяй! Ты просто грязный козёл! – закричала она вне себя от неожиданного удара и отвращения.

Её благоверный шмыгнул носом, взглянул на рыжую и расправил плечи. Уже в наручниках, он кисло подмигнул ей и, не взглянув на жену, пошёл вперёд, как было приказано.

...О, падучая звезда молодости!

Было, было и такое, во что самим уже верится с трудом.

И когда ваши возлюбленные мужчины в минуты клятв и затмений спрашивают, отчего вы им не верите, вы-то знаете, почему вы молчите...

...С Наташей мы больше так и не увиделись. Она развелась с мужем, вернулась в Каракол и долго меняла потом мужей и профессии. Талантов у неё было много, и жадности к жизни тоже. Не верилось даже, что когда-то она хотела утопиться, имела такие невероятные любовные приключения. И что у нас с ней одна общая прабабка Меланья.

Сюжетная линия

Затылок к затылку. Спinoй к спине едут в поезде двое в разных купе, разделённые тоненькой стенкой, не подозревая, что наконец-то рядом.

Он – исполненный грусти профессор, одинокий подтянутый педант, столько раз подававший в розыск...

Она – его недостижимая давняя мечта, со следами бывшего очарования и фатальной тенью скорой смерти на лице.

Остальное – в прошлом.

Что приснилось Иссык-Кулю

Стояла тёплая золотая осень. Двое людей, безумно любивших когда-то друг друга, нелепо разлучённые судьбой, искали друг друга сорок с лишним лет и наконец-то нечаянно нашли. Уже год как вдовый, старик, неизвестно каким чудом разыскав свою первую любовь, списался с ней, узнал, что и она уже год как вдова, договорился с ней о встрече и, спрятав драгоценную до святости фотографию их юности у сердца, полетел в город, где жила его Несбывшаяся Мечта.

Оказалось, жила она всё там же, в уютной однокомнатной квартире, в его родном городе Рыбачье на Иссык-Куле.

Конечно же, он ожидал увидеть её постаревшей, возможно, уже со вставными зубами, с измождённым личиком, либо крайне худую, либо крайне располневшую. Конечно, мог предположить, что превратилась она из того ангела, что на фотографии, в старую каргу с капризным тяжёлым характером, но заpretить себе эту поездку не мог.

И вот он сидел в её уютной квартирке, не зная, куда девать неуклюжие руки, и не смея поднять на неё глаз. Сидел дундук дундуком, слова ласкового не проронив, счастья своего не выказав ни на грамм. А она была всё такая же. Ласковая, тёплая, как весеннее солнышко. И всё было при ней: и зубы, и кудерьки, и стать крепкая, и кожа гладкая, даже губы подкрашены и читает без очков. Вот тебе и старуха.

Единственное, что не понравилось гостю, так это её собака. Смотрела старая псина такими умными ревнующими глазами, так тоскуя и поскуливая, словно понимала больше, чем люди.

Так и сидели они, молча, глядя на закат за окном. Солнце уже не било в глаза, оно растекалось малиновым румянцем по облакам и верхушкам деревьев. Всё было сказано-пересказано, кроме одного. Кроме самого главного, ради чего были затеяны поиски и бурная переписка, и эта волнующая встреча, чай и...

И мешало ему его тяжёлое дыхание и смущало её лёгкое, да ещё эта собака.

– Что же ты, Кирюша, не приехал ко мне, когда мой первый муж помер? – наконец-то, преодолев смущение, спросила старуха. – Я ведь любила тебя и ждала.

В ней вдруг проглянула та яркая красавица, которую он знал сорок лет назад. Была она чернوبرовой, с волевыми, выразительными чертами лица и снова казалась неприступной царицей Клеопатрой, даже грозной.

Старик затрепетал.

– И я тебя любил, Натальюшка, и люблю всем сердцем, солнце моё! Не женился долго, не мог забыть тебя. А потом встретил женщину, похожую на тебя, будто сестра. Тоже Наташей звали, бывает же так: и косы, и стать, и даже глаза у неё были такие же, что у тебя, зелёные, как море. Властная, гордая, непререкаемая. Пока видел в ней тебя, казалось, люблю. А потом нашла коса на камень. Как кошка с собакой стали жить, смертным боем друг друга начали изводить. Бывало, рвём друг друга, как звери лютые, я её укрощаю, она мне норовит глаза выцарапать. Заговорили о разводе. А тут слухи до меня дошли, что муж у тебя, Натальюшка, помер. Ну я и развёлся, недолго думая.

Ободрала она меня как белку, только хвост остался: двое детей да алименты. Ушёл с чемоданом, снял комнату, за душой две тысячи деревянными, на квартиру не хватило. Работал я начальником кинофикации, зарплата хорошая, а концы с концами свести не мог, стал снимать комнату подешевле. Хозяйка стерва попалась, дорого, неудобно, да ещё по одной половице заставила ходить. Я тебя на переговоры тогда позвал, ты не пришла, помнишь, нет?

– Не помню, Кирюша, видать, почта подвела, не получала, – замотала головой старуха. – Вот те крест, не получала, родненький! Ведь вот...

Старик обхватил руками голову, скомкал лицо в пригоршню, стал мять и терзать щетину двухдневной давности.

– Ну, запил я тогда, чёрт. Кому бес под нос, а мне шлея под хвост. Сорок лет, ни кола, ни двора. За пьянку с работы выперли. Пропил все деньги, какие на квартиру откладывал, не знаю, как под забором очутился. Подобрала меня жена, отмыла, одела. Да только што мы с ней, два пима на одну ногу! Зудит, сучье вымя, ещё больше озверела. Она меня переделывает, я – её. Ну и што? Сделанного в кузне не переделаешь в кузне. Стервенеет до белого каления, то сковородой навернёт, то тарелкой по морде, издевается. Выскочил один раз я из дому дух перевести, в тапках, в грязной майке, шорты дырявые по тогдашней моде, джинсовые с бахромой до колен, вот меня за бомжа и приняли.

Слышу, кричит кто-то: «Мужик, свободен?» – «Свободен, как дерьмо в полёте», – отвечаю. «Выпить хочешь?» Я как дурак, козёл, на хвоста и упал... как упал, так и пропал... «Айда, помоги тару на фуру погрузить, за работу пузырь и ящик помидоров!» – предложили мне. Кто предложил, плохо помню. Вроде казах, а вроде узбек, чёрный, волосатый такой, приветливый, во рту зуб золотой. Врюхался я в эту погрузку, а ей конца и края нет. Ящиков пятьдесят по-

мидоров занёс на фуру. Устал. Подходит этот чёрный, наливает мне и себе по стакану водки. Ну, хлебыснули мы. Сели в тенёк, значит... ещё хлебыснули. Баклажаны в томате, узбек в халате. Хорошо! Плов принесли, угощают, наливают, смеются: «Пей, Кирилл, заработал...»

...Проснулся я в темноте, на железном полу, трясёт меня во всех направлениях, в голове вава, во рту кака. Знобит. Нащупал лохмот, вроде байховое одеяло, замотался с головой. Когда озноб прошёл, понял, что трясёт меня в фуре, еду... крутом ящички с помидорами. Сначала ехал в прострации, голова не соображала. Потом укачало, уснул. Спал вечность, а проснулся – я всё тряусь – один, как хрен в консервной банке. Качало. Рвало меня. Потом уже, когда очухался, зверски захотел пить. Помидорами пахнет. Темно. Закусил томатами, совсем очухался. Стал стучать, кричать, фура остановилась. Двери открыл совсем незнакомый человек зверского вида, в шрамах, вроде казах. Сунул он мне кулаком в рыло, связал, а потом кляп в рот мне... Очень по-доброму говорит: «Потерпи, уважаемый, посты проедем, кляп вытащу, побереги силы, если жить хочешь»...

Представляешь? Это был девяносто четвёртый год. Я всю жизнь при креслах, десять лет в начальниках, член партии, сам Полтавский со мной за руку здоровался, и вдруг мне такое. Да я вас, думаю, в бараний рог согну! Сгною, ублюдки! Кто бы мне мог тогда подсказать, что влип я, как муха в дерьмо... так серьёзно влип, что серьёзнее не бывает. Откуда мне было знать, что зацапали и везут меня в рабство в бескрайние степи Сары-Арки! В голодную пустыню за Саксаульском.

И думать не думал, и гадать не гадал. Злоба душила...

Жаль, Натальюшка, не видела ты меня в ту пору! Мужик я был крепкий, огромный, как бугай! Было мне под сорок, а выглядел я на тридцать, здоровый, мордастый, силу некуда было девать, в самом цвету мужик.

И вот вылезая я дня через три из фуры... руки в отёках от верёвок, из глаз слёзы так и брызнули от солнца! Развязали меня, а я, как баран, пошёл на хозяина, дурак был, бросился сражаться с ветряной мельницей. Так дали мне тогда, что до вечера лежал, не мог встать! Лицо в отбивную котлету превратили, нос сломали, зубы выбили, ключицу... до сих пор вот болит на погоду ключица... да...

Лежал я в бункере на соломе, думал – умер. Очнулся, вижу, лучше бы я умер. Тут подходит ко мне тот, в шрамах, со зверским лицом верзила, и шарах на меня полведра воды! И ушёл. Через некоторое время появилась ласковая женщина, пить принесла. «Ты, – говорит, – айналайын, будь умнее, убьют зверюги. Им человека убить, что комара пришлѣпнуть. А ты сильный, красивый, живи! На всё воля Аллаха, может, всё ещё не так плохо будет». И ушла. Зверушка, а ничего, красивая, потом оказалось, что она жена того звероподобного, хозяйка – луч света в страшном царстве. Глаза... верблюжьи, лицо тонкое, кровь с молоком, сама статная, как все степнячки в той местности. Сколько потом видел там степнячек – все стройные, с верблюжьими глазами, ласковые.

Однако привели мне в бункер через неделю такую же, как я, пленницу, по виду казашку, совсем не похожую на местных степнячек, кругленькую, балбалистую с большим лицом, на мой вкус некрасивую, с узенькими щелками вместо глаз, затравленную, маленькую... Толстый казах, который её привёл, плохо говорил по-русски, но я его понял.

– Исиделай ей маленькую Марьямку или Мамбетку, и айда! Отпущу к ибонматри, – сказал толстяк, поставил передо мной огромную миску с мясом, воду и хлеб и удалился.

Я было накинулся на еду, да вспомнил про пленницу. Как-никак однохлебники... Оказалось, зовут её Жансая, ей тридцать лет, попала сюда за долги, платить нечем, велено ей родить хозяину ребёнка, и если ребёнка хорошо продадут и выручат сумму, которая покрывает её долги, то её отпустят.

– Ты ешь, – сказал я ей. – От этой скотской жизни скоро будет избавление. А чтобы выжить, нужны силы. Всё будет хорошо.

– Не будет, – покачала она головой, заливаясь слезами. – Не хочу я ребёнка, которого продадут неизвестно кому и зачем. Это страшно. Надо что-то придумать, бежать отсюда...

В моём мясе, которое я с аппетитом навернул, наверняка была подмешана какая-то хренотень типа конского возбуждителя или сильного афродизиака. Я попытался приласкать свою невольную наложницу сразу же, как только она перестала есть. Она – нет, не сопротивлялась... лежала тихо, как мышь, не отвчала ни на объёгты, ни на мои реплики.

Однако, когда я захотел войти в неё, она напряжилась всем телом, и я опозорился! Мой нефритовый молот, как сказал бы китаец, не продвинулся ни на йоту. Я промучился с ней полчаса, но она, ядрёна мешалка, так и не впустила меня... Думал, убьют меня, крышка.

Утром пришла сердитая хозяйка и что-то резко спросила у неё. «Жок!» – закричала Жансая и забилась в истерике. Билась, изрыгая проклятия и ругательства долго.

– Вы не обращайтесь на неё внимания, Кирилл. Она калмычка, манда поперёк, а туда же, гордая! А долг у неё знаете какой?! У меня такой работы нет, чтобы она честно тут отпахала! – сказала хозяйка.

Жансая снова что-то закричала на макароническом наречии. Из всего я понял только одно: «Людоеды. Безбожники. Аллах покарает! Вы плохо кончите!»

Вечером мне снова принесли мясо, свежие лепёшки, кумыс и подсунили другую девку.

– Теперь ты об этом пожалеешь! – сказал хозяин, забирая Жансаю. – Иди, пожарься на солнце, дурра!

– Сам ишак, который себя перехитрил. Чтоб ты сдох! – крикнула Жансая, удаляясь. Больше я её никогда не видел.

Зато я видел и перевидел потом много несчастных девушек и женщин, которых бросали ко мне ночью в бункер для одного и того же. Чтобы я сделал им Мамбетку или Марьямку.

Как только оказывалось, что очередная моя пленница забеременела, мне приводили другую. Некоторое время я работал только производителем.

А летом, чтобы жизнь не показалась мёдом, меня стали выгонять на работу.

Утрами я делал саман, вечерами носил тюки с сеном, поил верблюдов. С надеждой поглядывал я в бескрайние, свистящие сквозняками пространства пустыни. Беспредельная синева и беркуты, плешивая земля со сгоревшими кустарниками, безжизненные камни и солончаки. Бывало, лягу в такыр и смотрю, смотрю в небо.

– Хочешь бежать? Беги. На тысячу километров ни души. Всё равно вернёшься. Если волки не сожрут, – поймав мой тоскливый взгляд, скажет хозяин.

С тех пор я забыл делать гимнастику, отрастил бороду.

Однажды и перестал считать дни и спрашивать, какое сегодня число и год. Жизнь остановилась. Мне повезло больше, чем другим таким же, как я, бедолагам, упавшим на дно отчаяния. Пока я работал производителем, меня хорошо кормили, старались не бить и не унижать. Всё-таки самец дромедар, Нар, царь белых аруан, которые были когда-то людьми.

Помню девушку по имени Ботагоз. Она сказала мне, что попала в рабство из-за болезни матери. Нужна была крупная сумма денег на операцию. Она попала в ловко раскинутые ловушки обмана и в одночасье очутилась в диком средневековье, а была балериной, дочкой партийного босса. Который, к сожалению, умер.

Стыдно сказать, но эта девушка оказалась умнее и сильнее меня.

– Не ждите, когда вы состаритесь и ваше привилегированное положение кончится. Тогда вы превратитесь в одного из тех кулов, доходяг, каких я видела у хозяев на стройке и на пастбищах. Вас заморят голодом, и у вас не будет больше мыслей об освобождении. Кто-то один должен выбраться отсюда! – сказала мне Ботагоз, и в её глазах было столько силы, что эта сила передалась мне.

– Что делать? Я уже всё пробовал, я передумал тысячи вариантов! Я не знаю что даёть! – вспылил я.

– Послушайте меня, ага... Вам надо подкатиться в хозяйке! – горячо зашептала девушка. – Недавно её муж вернулся с охоты на людей... до неузнаваемости избитый, даже, можно сказать, изуродованный. Покарал Аллах, лишил способности двигаться. У него плохо с памятью и со зрением. Он вообще очень плох. Пока об этом никто ничего не знает. Но дело может принять крутой оборот, если его холуи и родственники захотят встать на место хозяина. Не хотите ли... вы... стать первым? Подумайте. У хозяйки есть слабое место, за шестнадцать лет замужества она так и не заимела детей от своего старого мужа. Бодливой корове бог рога не даёть. Ей не на кого опереться...

Я ничего не ответил. Но с того дня прибрал себя в порядок, стал посматривать на хозяйку. Мои пламенные взоры были неосторожны. Она поначалу даже рассердилась: «Ауз жап! Слекей жой, кафыр!» – вскрикнула она и бросила в меня корзину.

Я продолжал смотреть на неё теперь уже скромно, стыдливо, как побитый пёс. Она привыкла. Стала украдкой переглядываться со мной, не скрывая высокомерного любопытства. Её скупое внимание вселило в меня надежду. Этакая Туранская Эва, смазливая, сильная, злая. Я хотел её покорить. Очень хотел.

Однажды хозяйка сама принесла мне еду, и я не преминул коснуться её нежных пальчиков.

– Что значит ваше красивое имя, Бибюра? – трепеща, спросил я.

Она польщённо хмыкнула, задержалась на минуту в бункере, засмеялась.

– Так назвала меня моя мама! Когда она ходила на сносях, ей по утрам пела весенняя птичка: «Би-бю-ра, би-бю-ра, выходи-со-дво-ра».

– Господи, как это прекрасно!

Я тогда уже хорошо болтал по-казахски: «О, Алла, тамаша, сумдык», – повторил я, обволакивая хозяйку нежным взглядом. Как же она была одинока и самонадеянна.

– Какие у тебя синие глаза, небо таким не бывает! – вздохнула женщина и пошла прочь. Я робко, вдогонку попросил у неё чистую рубашку. В ответ раздался гневный грохот двери и железных запоров.

Неумолимый запах весны и надежды дразнили меня. Хотелось реветь раненым зверем, выть на луну, но можно было только петь. Я запел. Ты помнишь, как я умел это делать? Я пел, как птица Гамаюн! Годы неволи не сломали, не выстудили голос. Мне самому нравилось, как я пою свои украинские песни. Потом я запел казахскую «Дударай».

Невероятно, но в тот же вечер хозяйка принесла мне еду и чистую одежду. Впервые за восемь лет я увидел бутылку вина. Мы распили с ней бутылку. Стало тепло.

– Хорошо поешь, – сказала хозяйка и скинула свой шёлковый халат. Внешне она была похожа на Линду Нигматулину, тело её было как у гурии. Она легла на циновку.

Я, подражая своим наложницам, бросил в ведро с водой траву ямшу¹. Обмакнул полотенце в этот душистый настой и обтёр при ней своё накачанное тело. Я сам любил аромат этой травы, а они все сходят с ума от этого запаха.

Через несколько дней Бибюра сделала меня своим управляющим. Куда-то исчезли её несговорчивый брат Бакташ и племянник Чингис... Это укрепило её позицию в семье и среди верных холуёв её мужа. Она позволила мне войти в дом на правах Своего. Не прошло и месяца, как я сидел на почётном месте за дастарханом.

Бибюра, конечно же, доверила мне некоторые свои тайны, вплоть до самых сокровенных. Она сказала, сколько миллионов положено на её имя в банке. Вероятно, она полагала, что её деньги и любовь окажутся для меня дороже свободы.

Бедняжка Бибюра судила по себе. Алчная и скаредная до денег, она считала, что мы сделаны из одного теста. Как, впрочем, все дети Адама. Я подыгрывал ей... Ждал.

Я терпеливо ждал своего часа. Важно было не торопиться. Я сделал всё мыслимое и неммыслимое, чтобы Бибюра влюбилась в меня. Как кошка. Главной шёлковой дорогой к её сердцу был язык, язык её предков. Это сладоточивое оружие, которым я овладел впоследствии лучше её соплеменников, убило в ней последнюю каплю сомнения и осторожности. Когда она сообщила, что беременна от меня, я впал в экстаз. Я поднял её на руки и сказал, что никогда, никогда никого не любил так, как люблю её и нашего будущего ребёнка! Она потеряет не только осторожность, но и каплю здравого смысла.

Когда умрёт её муж, а это случится очень скоро, Бибюра пообещает сделать паспорт на моё имя и скажет мне, что я уже почти свободный человек.

На мой юбилей, а было мне тогда уже сорок пять, она подарит мне крупную сумму денег, положит их в сейф и скажет, что мне пора заводить свой собственный счёт в банке.

Хозяйка впервые сядет в машину за руль сама, без шофёра и без охранника, впервые возьмёт меня с собой к родственникам. Глупо было думать, что я убегу, оставив её где-нибудь в степи одну. Во-первых, я не умел водить машину, она это знала. Во-вторых, я не знал абсолютно местности и видел десятки обречённых, которые, убежав, вернулись калеками или были доставлены в виде останков, растерзанных беркутами, для устрашения других кулов.

Я запасся терпением на тысячу лет, зная, что уже не упущу свой шанс ни за что. И этот шанс выпал мне в тот же вечер...

За дастарханом, в гостях (да, Бог всё-таки есть), я вдруг увижу среди многочисленных гостей одного очень порядочного, честного человека – Сеитову Розу, с которой я когда-то работал. Она была инструктором горкома партии, а ныне просто молодой пенсионеркой пятидесяти пяти лет. Но я решился. Хорошо, что моя серебристая борода, усы и абсолютно поседевшие волосы сделали меня неузнаваемым. Не глядя на Розу, я, тихо волнуясь, сочинил в уме записку. Потом спокойно вышел в туалет, быстро написал то, что хотел, и хладнокровно, чтобы никто не видел, вручил при удобном моменте Розе. Вот что там было написано: «Уважаемая Роза-джан, надеюсь, Вы понимаете, что с этой минуты Вы в такой же опасности, как и я. Бабюре не нужны свидетели, даже если Вы её родственница. Она уничтожит вас, если узнает, что написано в этой записке! Вы должны

¹ Вероятно, емшан.

вспомнить меня. Мы коллеги, работали вместе в Джекказгане. Я Кирилл Зимин, бывший начальник кинофикации. Ныне раб, кул на одной нелегальной ферме у Бибюры, которая незаконно удерживает в рабстве более двух десятков людей. Содержание этих людей бесчеловечно. Преступление хозяев не знает границ и оправданий. Оно чудовищно! Прощу Вас, если Вы верите в Бога и высшую справедливость, передайте эту записку моему другу Самойленко или моим коллегам, жене, друзьям. Заранее молюсь за Вас, благодарю, целую руки. Кирилл».

Роза тайком прочтёт записку и, как истинная кыпчачка, даже не глянет в мою сторону. Она мужественно досидит до конца тоя, и только пунцовый румянец выдаст её волнение. Прощаясь, она пожмёт мне руку и задержит её в своих руках. Это послужит добрым знаком и надеждой для меня и для всех несчастных невольников, начавших уже стареть и умирать в рабстве у Бибюры.

Ровно через неделю, когда мы с Бибюрой сидели на террасе и мирно пили кок-чай, к нашему дому подъехал отряд омоновцев. Счастливая Бибюра даже не поймёт, в чём дело. Привыкшая к многолетней безнаказанности, роскоши и поклонению ей как богатой местной феодалке, она примет начальника отряда за своего. Он не станет её разочаровывать, попьёт с нами чаю. Затем попросит меня представиться.

– Очень рад, Кирилл Иванович Зимин, – отрекомендуюсь я. – Бывший начальник кинофикации Джекказганской области.

– Артур Кизилов. Прощу Вас, Кирилл Иваныч, пройти в мою машину на дознание, – скажет полковник.

Бибюра встревоженно взглянет в мои глаза. Такой я её и запомнил. Красивая, влюблённая, жестокая волчица. Догадайся она в тот момент, что произошло, и она перегрызла бы мне глотку.

Больше мы с ней никогда не увидимся. Бибюра не ступит за пределы своих владений и шагу. Как только она поймёт, что арестована, она тут же проглотит капсулу с цианистым калием и унесёт с собой в могилу моего нерождённого ребёнка, которого, вопреки противоречиям, я любил и ждал, и хотел отобрать у неё, как это делала она с несчастными рабынями...

* * *

– Вот так, Натальюшка. Больше у меня детей не было. Остальное ты знаешь, – вздохнул старик и устало откинулся на спинку кресла.

Не елось, не пилося. Уже и чай остыл, и пора было, наверно, прощаться навеки, до встречи уже теперь там, куда уходило это невыносимо печальное солнце. И вдруг ему стало горько. Негромко вспомнил, как сидели они, одетые в белые одежды, в юности, в дешёвеньком ресторанчике «Парус» и потягивали светлый пунш. Он заказал бефстроганов, маленькие пышечки и пирожки с капустой. Посмеивались над шумно швыркающим бульон лысыком и не сводили друг с друга глаз.

Старуха мгновенно оживилась от этих воспоминаний.

– Хочу снова потягивать пунш, есть бефстроганов и пирожки с капустой! – капризно воскликнула она. – И... и смеяться над швыркающим бульон лысыком...

И старик, сам давно лысый и шумно сморкающийся, сразу почувствовал себя юношей. Вздохнул свободней. Попробовал голос. Голос, слабый, как волосок, вдруг стал крепчать, превращаясь в струну высокого напряжения, вырос до органной мощи и вдруг загремел басоватым, золотистого тембра баритоном.

– Так что же мы сидим, родная? Мы опоздали на целую жизнь и продолжаем медлить. Собирайся, пойдём в ресторанчик пить пунш или, чёрт с ним с пуншем, позволим себе что-нибудь покрепче.

И они очень крепко тогда выпили от отчаянного желания перебороть смущение и неловкость. Ведь первая любовь всегда девически-стыдлива, нерешительна и робка. Такими их и увидел художник на своей картине. Блаженно-пьяными и отчаянно молодыми. Кружились золотые вихри листопада. Падали жёлуди. Старик и старуха танцевали до изнеможения звёздное танго. И я не знаю людей, которые, родившись на Иссык-Куле, не возвращались бы к его берегам снова и снова...

СТРАШИЛКИ У КОСТРА

Тектонический разлом

Зависнув между небом и каньоном, парит над изножьем гор и терновым джунглетником мой серый, как гнездо ласточки, домишко.

Нет-нет да почудится сквозь барбарисовую и тальниковую заросль: шумит где-то внизу увёртливая речушка, благоухают во всю свою радость фиолетовые гейзерки шалфея и пурпурные струйки змеиного горца. Да только отшумела своё речушка – то ли сменила русло, то ли ушла по железным трубам в горные сады дачников.

* * *

Место, где я живу, приснилось мне ещё до покупки моей дикокаменной фазенды.

Приснилось, что бегу я по отрогу, бегу всё сильнее, разбегаюсь и лечу летучей рыбиной куда-то вниз, в каньон.

Кругом цветы, бабочки, пичуги, дикие сады камней и гигантские, поросшие мхом валуны.

Земля глинистая лёссовая. На склонах шатры лопухов и лакрицы, дуром растут чертополох с девясилом, ежевика, душица и дудки змеиного молока.

Во сне я знаю, что лечу над древним тектоническим разломом, где когда-то текла большая гремучая речка, шумели камыши, густые заросли чия и шиповника.

Знаю, что эти джунгли до сих пор кишмя кишат живностью, и даже не предполагаю, что скоро увижу всё это воочью.

Да, я влюблюсь в свой сон, и он врежется мне в память и в душу ярче яви. Я стану искать это место близ Алма-Аты, буду бродить по окрестностям Талгара и Каскелена, Каменки и речки Казачки, прошагаю пешком от предгорий Медео до Баганашила и Каргалинки, увижу Алма-Арасан, много отрогов, каньонов, сухие русла рек, джарыки, впадины и плоскогорья, но того, что приснилось, не было.

Я обманывалась. Раза два покупала дешёвую дачку в прелестном месте у гор или в горах, и всякий раз дивные картины из сна, где я летучей рыбиной пересекаю пространство древнего тектонического разлома, звали снова и снова на поиски неутомлённого места, диких нехоженных троп, непуганых птиц и корсаков.

И вот... я здесь.

Я не знаю, как зовут золотую конопатую птицу величиной с кукушку, которая живёт внизу каньона. И длинную зелёную шах-птицу не знаю, как зовут. Спрашиваю у людей, описываю наружность шах-птицы. Она длинной с фазана, как стебель тонкая и ровно окрашена в нежный яблочно-зелёный цвет.

– Может, иволга? – неуверенно хмыкает мираб Рахимберды.

– Или мутант какой-нибудь, – раздумчиво добавляет его хрипатая, дородная дочь Умка, женщина язвительная. Она не верит в существование шах-птицы, похохатывает, закуривает и смотрит на меня как на сумасшедшую.

Мой загородный домишко хоть и на курьих ножках, но двухэтажный, с множеством окон и дверей, распахнутых настежь на все четыре стороны света. Словами барда: «Заходит в окна листопад, выходит в двери...» Слышно, как трубят осипшим горлом фазаны, как ходят по крыше горлицы и белки, катятся спелые красные яблоки. Заходят порой со стуком и ветры шальные и пыльные вихри, и ливни несказанные и гости незванные... собаки, кошки, зелёные кобылки...

– Ты бы это... хозяйюшка, пистолетик-то себе купила, – с ласковым холодком, неожиданно застыв в дверях и чувствуя мой лёгкий вздрог, говорит местный сторож по прозвищу дядь Миша Буфер. – Дико тут у нас, дом на отшибе, всю зиму одинокий стоит, привадились тут всякие!.. Ладно бы только люди, а то ведь... барана ягель, сказать страшно кто... Скажи тебе, – жить здесь не захочешь, убежишь.

– ...Жениха не надо? – он осклабится, обнаружив довольно широкую щербинку между прокуренных червивых зубов.

– Да кто же, дядь Миш, тут кроме дачников и шакалов ходит?.. Нет! Жениха не надо. Проповедую аскетизм.

– Не страшно у кладбища жить?

– С чего это? – я достану из столешницы пистолет, щёлкну затвором.

Сторож усмехнётся.

– Оберег от блуждающей души читай! Душе-то, восставшей из могилы, эта «дура» до фени. – Он вытащит из кармана уголь, начертит на двери распятие, перекрестит двери. – Дом у кладбища покупать нельзя, а уж если купила, слушай старика, – отчитаю дом от блуждающей души неприкаязной... – С этими словами он начал читать оберег-молитву, обходя задом наперёд окна и двери и крестя их перстами.

*Спаси, Господи, душу мою
и обереги меня от в ночи блуждающей
души неприкаязной, восставшей
прежде времени от пелен своих,
не имущей места покоя своего,
кою не держит ни покров земли,
ни крест в ногах, ни икона в головах,*

*ни гвозди в гробовой крышке,
а только слово Твоё запретное
законом будет ей.
Уповаю на Тебя, Господи,
как на крепость святую и нерушимую.
Ныне и присно, во веки веков. Аминь.*

Он вытащит бумажку с молитвой и положит на стол.

– Ежели страшно будет – читай и делай всё как я. Распятие с двери не стирай... Бывай здорова... Муж-то любит?

– Любит, как душу, да трясёт, как грушу.

– Да ещё и невидимка? Сколь живу – не видел!

– Сенная лихорадка у него, дядь Миш. Аллергия на полынь и пырей...

– Вот я и спрашиваю: жениха не надо? А то ведь новый муж лучше старых двух. В тебя Володька, сосед мой, влюбился. У него наоборот – жинка-невидимка, сколь живу, не видел, тоже, видать, аллергия... на мужа! – захохотал, удаляясь, сторож.

Муж мой не боится сенной лихорадки, боится себя во время обострения. Сильно портится у него характер, может ненароком и обидеть, поскольку болезнь подлая – чешутся глаза, наливаются кровью, душит чих, насморк, и лютое раздражение и злость от подобного дискомфорта.

Появляется он как добрый волшебный гномик, что-нибудь чинит, копает, надев респиратор, косит сныть и быстро исчезает, чтобы отдышаться в дымном городе.

Распятие на дверях – лишний раз напоминает о блуждающих душах мертвецов и о том, что я одна. С распятием становится не просто страшно, а очень страшно. «Зло льнёт ко злу, добро к добру...» Стираю распятие. Нет у меня

злых предчувствий. Красивая усадьба. Красивое место. Место намоленное, особое. Монастырь здесь где-то совсем рядом в ущелье. Кругом душистый травостой, кураевая тайга, бабочки-перламутровки, в ажурных купырях – золотые жуки. Всё до былиночки, до живиночки мило. Благодать разлита вокруг. Монастыри-то где попало не строят. Богодань золотая, тишайшая.

Домик висит между двух отрогов прямо в гнездовье вихрей – так я называю каньон с его чистыми воздушными потоками, которые нет-нет да и завертятся волчком, сорвут то бельё с верёвки, то жёлтый зонтообразный тент на террасе. Иногда вдруг увидишь платье своё голубое, распластанное на крыше сторожа, а тент, как гриб, где-нибудь в саду, опрокинутый вниз шляпкой. Провода замыкает часто. Радио молчит. Тишина ясная, как в раю, одна музыка – птичья, да сверчки, да кузнечики.

Фундамент дома врыт в правый отрог. Одна стена первого этажа находится в сырой земле, а потому летом здесь всегда прохладно и сумрачно даже в сорокоградусную жару.

На правом отроге сады и дикие редкие дачки. На левом – кладбище.

Нередко из окна приходится наблюдать, как то тут, то там разверзается сырая пасть земли и поглощает свежего мертвеца в свою ненасытную утробу.

*Что ни день, то тут, то там
разверзают рты могилы.*

*Сколько б землю ни кормили,
в ней тоска по мертвецам.*

*Что ни день, как своре псов,
отдают ей мертвецов.*

Торопливо отдают.

Молча с кладбища бегут...

Жизнь в Богодани летит быстро, иной раз диву даёшься: вот вроде только что подъехала похоронная процессия, а уже всех до одного как ветром сдуло. Лишь венки свежие печально шелестят, да траурные ленты развеивает ветер.

Взгрустнёшь и подумаешь: рождается человек всю жизнь, медленно, потихонечку. Бывает, так и не родившись по-настоящему, творит себя, в муках. Ждёт его долго, не встреченного, несужденного, всю жизнь какая-нибудь вековуха. Ждут не дождутся мать с отцом, а провожают быстро, полчаса и – нет никого у могилы. Тишина. Только беркуты кружат, да солнце стоит, одиноко раскаляясь добела, как всевидящий зрак, суровый и неумолимый.

* * *

Окрестные жители называют меня Батыркыз. Наверно, за то, что отваживаюсь жить одна в доме у кладбища. Ночами не зажигаю свет, сижу до полночи среди мальв и настурций у костерка, неотрывно смотрю в небо или в долину, слушаю концерты птах и сверчков.

Колдовское поле

Иногда к моему дачному костерку тихой сапой подходит сторож дядя Миша Буфер. Иногда присядут мираб Рахимберды или соседи Афанасьевы.

Светло и нежно струит звёздный Водолей млечную прохладу. Вихрастый ветер заигрывает с костерком. Чего только не наслушаешься такими вечерами.

Рахимберды рассказывают:

– Как-то в детстве заночевали мы с отцом в открытом поле, на берегу Иссык-Куля. Возвращались из города в аул. Сильно поистратились, и провиант на исходе. Ездили за сахаром, а купили матери пальто. Время послевоенное, голодно, холодно. На нас с отцом отрепья, ветер в одну дырку свистит, в другую присвистывает...

Ну, развели мы с отцом костерок, коней отпустили пастись, а сами решили похлёбку варить. Бросили в котелок с водой коренья съедобные, для приварка вяленые, оставшиеся от обеда, головы чебака...

Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нам хромой старик с чёрной родинкой на носу. Чёрная родинка такой формы на лице – знак потомственного баксы очень большой силы.

С уважением мы ответили на приветствие. Произнёс он молитву и, опустив глаза, смиренно подсел к костерку. По жадно рвущимся от запаха рыбы ноздрям понимаем – путник тоже голоден как волк. Не знает он, что там не рыба, а вяленые объедки. Сидит, подбрасывает в костёр. Вынул из халата траву какую-то, растёр, понюхал, одну щепоть кинул в огонь, другую в котелок с варевом.

Через секунду запах нашей баланды преобразился. Остро запахло невыносимо прекрасными яствами. То будто жареным мясом нежного ягнёнка, то шашлыком, то будто самой пищей богов. А дымок кураевый и кизячный вкусно саксаулом потянул...

И вдруг костерок стал гаснуть. Вскочили мы с отцом – за хворостом. Вроде на миг удалились...

Возвращаемся, глядь, а у костерка нашего целая компания! Гвалт, хихиканье, повизгивания. О Алла! Ну и рожи! Одну козлиную до сих пор помню: зубы червивые, здоровенные, а в острых длинных ушах – шерсть. Во сне такое не приснится.

Дым от костра сладкий. Голова кружится. Чувствуем, будто плывём мы. Музыка райская в голове. Всё перед глазами закрутилось. Упал я и уснул. Лет восемь мне было...

Отец тоже было повалился на землю, да краем глаза увидел, что кони наши исчезли. Закрыв он рот и нос рукавом, чтобы не дышать дымом, выхватил из голенища сапога нож и с криком: «Шайтан!», опрокинув кипящий котелок, с силой вонзил нож прямо в шипящие угли!.. Бисмиля и рахман и рахим!

Упал, видит – никого нет, будто привиделось, и тут же уснул мёртвым сном.

Очнулись мы с ним под утро. Венера голубая огромная у горизонта. Ни коней, ни старика! Только мешок с подарками из города остался. Долго потом мать по праздникам то плюшевое пальто носила. Как увидим пальто, так и вспомним...

Много раз отец рассказывал эту историю. Я-то всегда верил, что повстречалась нам тогда нечистая сила. А однажды пересказал одному учёному человеку. Возразил он мне. Не шайтан, видать, а цыган вам встретился. Даже траву назвал, которой старик нас окурил. Иллария – называется трава.

А я вот думаю, если простой это путник был, то почему у него такие горящие красные глаза были, будто из воды или стекла? И что за страшилища сидели у костра? Мыстан и чертей краше рисуют. До сих пор помню их уродливый визг и хихиканье. Люди так не смеются и не визжат, жабы на болоте, ослы так не надрываются... Шайтан это был!..

Блуждающие души

– А хочешь, Батыркыз, ещё одну историю про блуждающие души? Пока не забыл, – подсаживаясь ближе к костру, перебил его брат мираба Мырза. Вот слушайте.

Застигла меня как-то ночь неподалёку от Балхаша. Дорога шла вдоль тёмных зарослей туранги. Кто знает, о чём шепчет ночью туранга, тот поймёт... Жуть. То шакал завоет, то выпь отзовется, то сова заплачет: «Сплю-ю, сплю-ю!» Страшновато, а привал делать надо. Лошадь устала, да и у меня глаза слипаются. Вот, думаю, ещё немного, и остановлюсь. А сам всё еду и еду, как заведённый, не могу остановиться. Не по себе мне. Вдруг вижу костёр. Посреди небольшой поляны – дымок. Говор. Собаки залаяли. Подъехал я ближе,

смотрю – на той попал. Прямо в открытой степи дастархан разложен, и не один – вокруг костра. Оживление. Молодки принаряжены. Старухи в белых жаульках, старики в шёлковых чалмах. Вижу, попал я на большой праздник. Слез с коня. И тут же меня усадили за самый центральный дастархан на почётное место. Узнали меня. Был я известным в степи кюйши. Принесли жетыген, велели петь, пока блюдо готовится. Запел я, заиграл, а сам краем глаза вдруг вижу – люди за дастарханом странные: рты улыбаются, а глаза нет. Глаза голодные, разум в них есть, а жизни нет. Пристально смотрят прямо мне в мозг и в сердце – всё видят, что я о них кумекаю. Смотрю, а на привязи неподалёку не барашек, а свинья (именно так произнёс рассказчик это слово – свиня). О Алла! Странные. Малахай у одного из волчьей, у другого из медвежьей шкуры. Бороды у них серые клочковатые. Тяжёлым спёртым духом и псиной от них разит. А сами все жирные, как та свинья на привязи. У одного и вовсе непонятно, что за головной убор – вроде как парик из разномастных человеческих волос, сзади коса женская тощая, а на волосатых руках ногти жёлтые, загибаются, как у птицы. Ойбай, думаю, кто ты, дитя земного лона, как не помесь самки шакала и жезтырнак?! Глядь, а он уже схватил мои мысли на лету, глаза по-зверинному полыхнули.

– Голову гостью! – пролаял он и ощерился.

Лучше бы он этого не делал. То, что я увидел у него вместо зубов, лишило меня на миг чувств. Когда я очнулся, большое блюдо с головой уже поднесли и поставили передо мной.

Глянул я и чуть не умер на месте. Бисмилля и рахман и рахим!..

На блюде лежала голова моей матери, с похорон которой я возвращался!

– Это не я, сынок! – заржала голова конским голосом, и я, с именем Аллаха, вонзил нож в дастархан. Чудища завизжали, и всё исчезло...

Очнулся я. Сижу один в поле. Вдалеке осталась лежать только свинья, приготовленная на заклание. Однако, хорошенько присмотревшись, я понял, что это огромный белый валун с перекинутой поперёк него верёвкой...

Вот такая история, – рассказчик подбросил щепок в огонь. – Ты, Батыр-кыз, пишущий человек, у тебя железная логика, объясни, что это было, и тогда я доскажу конец истории, – прищурился он. – А может быть, домыслишь с точки зрения твоей железной логики?! Эй! Кыш откуда, не подслушивать, – шугнул он соседского мальчика Ильку. Мальчик даже не пошевелился. Ждал.

– Хорошо. Извольте, – подумав немного скажу я. – Слушайте...

Если помнить, что путник в начале рассказа замешкался с выбором подходящего места для отдыха, а глаза у него уже слипались, то, вероятнее всего, он уснул прямо в седле на лошади. А так как был он голоден и утомлён до крайнего физического и психического истощения, то приснился ему причудливый сон со странными зловонными существами в медвежьих и волчьих малахаях, очень опасными... Видимо, оттого, что подсознание уснувшего всё же ощутило, что уставший конь остановился и был окружён двумя-тремя ослабевшими хищниками, не решающимися броситься на всадника и его коня. Голодный путник, даже во сне мечтающий о еде, ждал угощения, но почуял всеми фибрами сквозь сон опасность, а вместе с ней смерть... Смерть матери у него в подсознании. И видит вдруг он во сне голову матери на блюде, которая предупреждает его ржанием. Однако наяву – это ржание испуганной лошади. Видимо, в тот миг один из хищников подобрался совсем близко и осмелел...

– ...Вот так вот выручает нас подсознание из беды. Правильно.

Рассказчик с уважением посмотрел на меня и кивнул головой. Но, видимо, он хотел оставить свою страшилку неразгаданной и таинственной. Думаю,

что он умолчал правду. Закончил он свою историю с явным желанием поразить наше воображение:

– Вонзил я нож в дастархан, и всё исчезло. Смотрю, уже и рассвет брезжит, птицы запели. Глянул на остатки костра, где кипело в казане мясо, а там куча конского навоза. Вместо блюда на дастархане лежит передо мной свежая коровья лепёшка, и сам я весь в коровьем дерьме. Злые духи это были. Блуждающие души врагов наших...

В зеркале я увидел, что произойдёт завтра!

Упруго пульсирует соло сверчка. Смачно звёздной солью посыпан свежий хлеб ночи. Ворочаюсь – малая пылинка под звёздным одеялом Вселенной. Малая пылинка на жёстком камушке под названием Земля. Ворочаюсь. Гляжу в небо. Там – голубые нехоженые луга и сады. Кто-то косит небесную леваду. Косит звёзды, как травы, и они косо падают в речку. Август.

Звездокосы мои. Звездопады. Чьи-то рухнувшие в бездну Помпеи, Эллады, Вавилоны, Карфагены...

А за забором привычная песня-истерика соседа.

– А-а-а, с-сэ-ка, иш-шак, ур-род маленький! Башку тебе разбить мало! Б-бездельник, гмыза! Каким местом слушаешь, бухло! Я тебя спра-ашиваю! – визжит, заливаётся сосед на маленького сына Ильку.

Ильке двенадцать лет. Нежный возраст. Он смыслённый странный мальчик. По-моему – вундеркинд. Иногда Илька разговаривает со мной.

– А правда, что вы пишете книги? – с уважением спрашивает он, стоя на ветке орешины, которая свисает в мой сад. – А что вы пишете?

– Сказки, – для интриги отвечаю я.

– Тогда расскажите мне сказку.

– Ты уже взрослый, – говорю я. – Сам сочини. Я вот в детстве сама себе сказки сочиняла.

– Я рассказы пишу, – признается Илька. – Папа говорит, что я – шизофреник...

– Да ну!..

– Показать?

– Покажи.

Он птицей улетучивается к себе домой. Через минуту перемахивает через забор.

– Вот! Читайте. Только внимательно, пожалуйста... А то ничего не поймёте!

Мальчик тяжело дышит. Смотрит насмешливо мне в глаза. Мне кажется, он взрослее меня. Станный мальчик. Станный заголовок на тетрадке: «В зеркале я увидел, что произойдёт завтра!»

Я медленно и внимательно вчитываюсь в детские каракули. Мальчик не так прост, как может показаться. Не опозориться бы. Почерк корявый, нервный:

«Не отмываются у меня от ушей горячие чернила. Хочу содрать шкуру тому неукротимому быку.

Чернила понемногу отстают. Однако, испаряясь, чернила оставляют следы на потолке.

Вчера на небе ярко сияли звёзды, потом вдруг внезапно попадали. Я стал бегать, собирать их и кидать в потухший светильник.

Ключи в кармане становились всё тяжелее и наконец разорвали его! Выпали и превратились в каменные столбы.

Так и остались лежать ключи от зала зеркал.

Так и пришлось идти в темноте.

Дома, в зеркале, я увидел то, что должно было произойти завтра!

В стакан мне налили вина, туда нечаянно попала жевательная резинка.

Я вытащил её пинцетом и выплюнул в рот деревянному идолу. Тот ожил и начал двигаться. Я с ужасом смотрел на это.

Я положил ему на голову корабельный жетон. И вдруг он стал лягушкой.

Лягушка превратилась в огонь. Я быстро помочился на языки пламени, и нечистая сила погибла.

К вечеру загорелись звёзды.

Зал зеркал был ещё закрыт. Может быть, заказать новые ключи?

Но ведь в магнитофоне поспели батарейки...»

Я молчала, раздумывая и разгадывая текст. Несомненно, это был шифр.

– Вы тоже думаете, что я шизофреник? – насмешливо спросил мальчик.

Он снова запрыгнул на ветку орешины и глядел оттуда свысока.

– Думаю, ты эксцентрик. Я разгадала твой шифр. Ведь это шифр?

– Да, это шифр, – обрадовался Илька. – Ну, и ещё – постмодерн. Стихи в прозе.

– Ага, проба пера. Заготовки. Сброс эмоций. Понима-аю. Сама была такой. Попытка успокоиться и поладить с собой и ещё с кем-то?

– Вы почти угадали! – весело говорит Илька. – Но не торопитесь. Возьмите тетрадку и подумайте. О чём я хотел сказать.

Он ловит свою кошку Ксюшу, кладёт её за пазуху и перелезает через забор.

Я понимаю его рассказ. Прыгающий почерк. Да. Он невротик. И кошка Ксюша невротик. Такими их сделал отец Ильки. Я слышу снова этот утробный леденящий вскрик:

– А-а, с-эка, закрой брехло поганое!..

Я знаю, кто этот неукротимый бык, с которого хочет содрать шкуру Илька в своём рассказе.

Дома, в зеркале, он жаждет увидеть, то, что произойдёт завтра. А именно: мальчик хочет увидеть свою мечту, а может быть, тайное исполнение замысла. Илька ненавидит своего отца. И он тайно ждёт возмездия за все оскорбления и издевательства.

Его пьянит жажда мести. «Стакан с вином и деревянный идол» – это он сам, Илька. Он укрощает в себе злого демона, свою собственную нечистую силу. Ждёт, ждёт, ждёт ярких звёзд на небе, то есть – возвращения счастья, мира и любви ко всем обидчикам. Но звёзды снова падают. Зал зеркал, то есть зал завтрашней мечты, закрыт... А сладкая музыка гнева и утешения снова «попеваает в... батарейках».

Бедный Илька. Каково жить ему с отцом-зверюгой? Бьёт его ещё и какой-нибудь отмороженный Колян в школе, обижают хулиганы постарше. Как жаль, что у матери Ильки пока что нет волшебного блюдечка из сказки – такой видеомобилы, в которую она присматривала бы за ребёнком на расстоянии. Опасный возраст!

– А-а, с-эка! Долботрах! Вонючка! Убью! – раздаётся снова откуда-то снизу голос Илькиного отца.

Кошка Ксюша тихо возвращается, лижет котят, которых каждое лето подбрасывает мне. Котята ни за что не даются мне в руки. В этом году совсем неудачный помёт. Они отчаянно царапаются, вырываются и, с молниеносной быстротой убегая, прячутся на мансарде. Однако в моё отсутствие нагло шкодят и пакостят. Я так и зову их – Тупик и Балбик.

Перепуганные котята, рождённые от навеки перепуганной кошки, тоже, увы, бывают дебилами или страдают аутизмом.

А что будет с мальчиком Илькой?

Гляжу в небо. Там – голубые нехоженые луга и сады. Кто-то косит небесную леваду. Косит звёзды, как белые цветы, и они косо падают за каньоны.

Прекрасное далёко, не будь к нему жестоко.

Пришелец

Дивны энергетические потоки тектонического разлома, на котором стоит моё жилище. Ни в какой местности, ни до, ни после не писалось мне так много и счастливо. Правда, не оставляет наивная мысль, что кто-то незримый управляет разумом, нашёптывает образы и сюжеты. А главное, не любит мистики и космогонии. Уничтожив фобии, которыми мне пришлось раньше страдать, неведомый дух-покровитель уничтожает то, что может их породить снова. Куда, например, делось стихотворение про камень с метеорита? Исчезло бесследно, причём и черновик, и беловик. Я вспомню его только зимой в городе, да и то с большой натугой.

Метеоры летели и камень в цветы уронили.

Хорошо, не в висок, а под ноженьки мне угодил он.

Ноздревата порода, почти и не камень,

И горелые ноздри, раздутые в гари.

В них шипит ещё лёд, в них шипит ещё пламень.

Может, он с Эридана какой-нибудь арий?

Гладят камешек розовый нежно и немо

И друзья, и родня – чудаки.

А потом говорят: «Этот камешек с неба».

А потом ещё тише: «Ты его береги!..»

А чего мне беречь это юдо на даче?

Может, это пришелец, а может быть, датчик?

Оживёт и сверкнёт он с планеты Земля:

«Принимайте-ка шифры на борт корабля».

...Он, стихи на столе прочитавший ночами,

Вдруг поймёт наши слабости все и печали.

Уязвимые точки наматает на ус...

Этот камешек с неба. Я не то что б боюсь...

Впрочем, а кто такой наш неведомый дух-покровитель или хранящий нас ангел – как не наше подсознание? Все чудеса, резервы тела, обострённое чувство биоценоза от него...

Ведьмин круг

Каждую весну в мае я хожу за грибами в заброшенные яблоневые сады. Бывает, что на нашем платовидном сравнительно ровном отроге попадает белый степной гриб, любит хорошо освещённые места, если уж один попался, то будут и другие. Случаются и дождевики, и сморчки, и шампиньоны. Но больше всего я люблю охоту за опятами. Найдёшь один ведьмин круг – и сумка полная. Самый лучший суп из лугового опёнка. Кому как, а мне и жарёшка из опят милее, чем из белого степного.

Люблю кружить грибными тихими местами. Внимать тебе, о ясная моя Богодань, синь небесная, просторы, что как на ладони видны с плато. Люблю утреннюю рань и дебри неведомого, которые таят в себе ведьмины круги опять.

Чистая иль нечистая сила водит хороводы грибов по солнечным опушкам и поймам садов? Откуда эти ведьмины круги? Почему ведьмины? Если помнить, что у каньона, в гнездовье вихрей живу, то ясно, кто закручивает в кольца мириады грибных спор на полянках между яблонями. А если это геомагнитные какие аномалии? Вот снова ведьмин круг и вот опять... опять опять кружатся кругами. Что за наваждение? Почему кругами около двух метров в диаметре? Неужто их сеют для себя ведьмы, чтобы в магическом круге шептать свои заговоры? А может, силу черпают от земли в фокусе магнитных волн? А может быть, это восстают исчезнувшие гигантские древние пни?

Помню, в детстве набрали мы на такой ведьмин круг с бабушкой Меланьей, с моей родной прабабкой, потомственной ведуньей и травницей, по милости которой я на свет появилась, она мою мать, свою внучку, от бесплодия излечила.

И вот набрали мы с ней на ведьмин круг, небольшой, немаленький. Опята один к одному здоровенькие, масляными шляпками свежими так и поблёскивают. Круг в диаметре полтора метра, совершенный такой, будто луна молодая; к юго-западу густо, потолще грибы, покрупнее, а к северо-востоку почти пусто, но если всмотреться, и там пупырышки грибов уже зародились строго по кругу.

– Баушка! Что это? Почему так-то? То ли круг, то ли месяц? Почему ведьмин круг? – изумлюсь я.

– А ты ляжь, полежи в ём, пока молодая луна нынче, полежи тамы-ка на запад головой, вздремни! А я тугы-ка на травке посижу. Как я пристала!.. Отдохнём, однако, чуток. Да панаму твою дай-ко выверну наизнанку, одень, а то память заспишь. Вот так! С богом!..

Староверка, а не перекрестила меня. Значит, ничего страшного.

Легла я в ведьмин круг, а мотыльки так и витают надо мной, как небесные ангелы, золотые да белые, да голубые.

– Баушка, этот как называется – капустница? – кричу я.

– Нет, она хушь и белая, а вишь, зеленоватая в конопушках вся. Молочаевка ёнто.

– А это... баушка, – краси-ивая какая, узоров сколько?..

– Аль не знаешь репейницу? Ишшо карапетом её зовут... Не путай с луговицей. Луговица-нектарница крупнее будет, бархатистее, белого в ей больше, красного меньше. А ёнто вон длинноносенький, шмель-колибри, а ёнто лимонница полетела, не желтушка, вишь ясная какая, ни одной чёрной крапинки...

...И приснился-привиделся мне дивный сон. Будто летают лимонницы в отцовском саду, ясные, как летучие цветы-донники, летают, летают, а посреди сада между деревьями молодыми да прямо на грядках с укропом шифоньер стоит свежеекрашенный, только что отцом сработанный, лаком золотистым покрытый. А в шифоньере... коса! Живая... женская, толстая да каштановая. Будто отстригли её недавно. А коса блестящая, свежая и живёт будто бы самостоятельной себе жизнью. Вольготно ей в шифоньере новом. Деревом там свежим пахнет, лаком и – ничего больше, кроме этой каштановой прекрасной живой косы, струящейся, как змея! И будто живёт, дышит, выходит коса из шифоньера того, когда ей вздумается. Молодая, красивая, гибкая. Жива-ая!

Испугалась я и проснулась. С тех пор долго в отцовский сад ходить боялась одна. Лет шесть мне было. Дойду до того места, где именно шифоньер с косой приснился и – бежать! Будто кто гонится за мной. Стра-а-шно.

А бабушка Меланья Свистунова, урождённая Панфилова, моя пра... тот сон так растолковала. Мол, могилка...

– Могилка, значит, на вашей усадьбе имеется. Женщина молодая там похоронена. Не даёт она жить твоему папке с мамкой... Невзлюбила она вас. Могилка-то, видать, старая, да Хозяйка в ей молодая. Не успокоился её дух.

– Почему невзлюбила, баушка?! – удивляюсь я.

Бабушка Меланья запечалится, потемнеет лицом.

– Да характер у твоей мамки шибко поперечный. Креста на ей нет. Жалко мне Ваньку, отца твоего, хушь и чужой он мне. Не даст им жить Хозяйка. А ты скажи-ка мне как на духу, папка мамку бьёт?

– Нет, баушка, не бьёт. Это мамка собаку Муратку наказывает, чтобы не брехал попусту.

– Выкрутень она, твоя мамка! Крапивное семя... Не даст... им жить Хозяйка.

* * *

А и правда, стал отец спустя год погреб копать и наткнулся на череп. Старый череп, мягкий, как хлебная корочка, – рассыпался в руках.

С тех пор не заладилась жизнь у родителей. Красивое место на бугре. Иссык-Куль как на ладони виден. Красивый сад, ладный дом с распахнутыми на юг окнами, под окнами розы, петунии, фундук и вишневник, за домом речка чистая, как слезинка, в тополях кукушка кукует. Место райское, а жизни не стало.

...То отец заболел, то мать. То дед, смоля бочку, загорелся вдруг, как свечка. Еле потушили.

То братишку «младенским» накроет, то змея в дом заползёт в трещину после неожиданной усадки.

То сыпь, то свинка у детей. То грыжа у отца, то сломанная нога у матери. И всё как-то сразу посыпалось, пришла беда – отворяй ворота. Цыплята двухголовые стали вылупляться...

А со мной что творится!.. То я с крыши упала, то с ослика, то со свиньи, то с крыльца, то с дерева. Ладно, озорница, пострелёнок непоседливый, но не до такой же степени – ёшкин свет!

То собака за бок меня хватанёт, то гусь за ногу ущипнёт, то петух в попу клюнет, то змея ужалила в щиколотку босую, когда мы за смородиной с няней Марусей шли в сад. То на санках в речку в ледяные шквары носом врежусь, то мать в угол поставит, а я усну да и мешком – прямо лбом на торчащий у порога вывороченный гвоздь с острой шляпкой! То корь у меня, то оспа. То слух после болезни начал пропадать.

Сшил мне отец тёплые наушники из бинтов и ваты, а на улицу в них стыдно идти. А тут ещё лоб перевязан, шрамы кругом. Живого места на тельце нет.

Шёл в клубе фильм про Чапаева. Придумала я себе, что я боец из его отряда, раненый герой-революционер, наушники радистки у меня. Пацаны меня дразнят, а я в драку. Соседи взъелись. Шашель полы точит, змеи с гор ползут и ползут в усадьбу. Пёс Муратка заболел. Сидит чешется, словно на балалайке играет. Беда.

И со всеми, кто у нас жил или гостил когда-нибудь в том доме, странные вещи начали происходить, как будто в заражённое роком место попали.

Особенно врезался мне в память последний перед продажей дома эпизод...

Дорога направо

Июнь. Мне шесть лет. Сыро и холодно. День начинается с оглушающей новости. Приходит соседка, и я слышу её приглушенный сдавленный голос в коридоре.

– Малахов-то утоп! – озираясь по сторонам, тихо говорит она матери.

– Как утоп?! – слабо вскрикивает мать, и её лицо начинает бледнеть, каменеть и леденеть одновременно.

– Так утоп. Камень на шею и – с лодки!.. Пойдёшь проститься, аль как?

Мать с трудом приходит в себя и тихо выдавливая:

– Не может быть.

– Пойдёшь, чё ли? – танком подступает соседка.

– Бог с вами, тётъ Катя, что свекровка-то скажет, – обескураженно роняет мать.

– Твоя правда.

Тётъ Катя шумно сморкается и повторяет:

– Твоя правда. А то, может...

– Что ты!.. Муж узнает – убьёт! – машет рукой мать, бесчувственно опускаясь на табуретку.

– Этот убьёт точно! – кивает головой соседка. – Моё дело оповестить. Хушь девчонку пошли, пусть сладку кашу поест, да потом мамке всё расскажет, – говорит она и остро глядит мне в глаза. – Сходи, детка, проводи дядю Павлика, помяни по-христиански. Дом возле мельницы помнишь?

Я угрюмо киваю головой.

– Только папке-то не говори. Не скажешь?

Я снова мотаю головой, встаю и принимаюсь играть с Муркой. Учю её ходить по-человечьи.

Дальше события разворачиваются непредсказуемо быстро. Мать зовёт меня переодеться, я сажаю вырывающуюся Мурку на бархатную подушечку в духовку под задвижку, чтобы не убежала. Бегу к матери, которая спешно переодевает меня и так же спешно отправляет на похороны дяди Павлика. Конечно, она хочет, чтобы я потом ей всё рассказала.

И вот я иду по дороге на старую мельницу, трепеща от мысли, что сейчас увижу МЕРТВЕЦА. Всё это жутко и загадочно. Я никогда в жизни ещё не видела мертвецов, но уличные страшилки, рассказываемые лунными вечерами на лавочках, уже успели внушить священный детский страх перед этим словом.

«Дядя Павлик мертвец!» – холодея, шепчу я, стараясь привыкнуть к этой мысли по мере приближения к дому покойного.

Наконец я захожу во двор и вижу трех опятных старух в чёрном. Они стоят, скорбно прижав к бледным губам свисающие концы своих штapelных платков. Это кажется мне каким-то особым ритуальным жестом, и я тоже прижимаю конец своего платка к губам и делаю скорбное лицо, чем сразу же привлекаю к себе внимание.

– А эта чья ж такая будет? – обращается ко мне самая ласковая старуха с остреньким носом и такими же остренькими маленькими глазками.

Я приостанавливаюсь и, уставясь в землю, насупленно молчу.

Другая старуха с рябым широким лицом протягивает мне конфетку.

– Немая, что ль? Чья, спрашивают тебя, будешь?

Теплеет. Солнце выглядывает наконец из-за облаков.

– Мамина и папина, – набычась, роняю я и с достоинством направляюсь в дом...

– Ейной матери полюбовник, – глухо доносится мне вслед.

В переднем углу под образами лежит ОН. Гроб обит чёрным. Я пристально вглядываюсь в его лицо. Оно синюшно-тёмное, с заострившимися чертами, неузнаваемо-чужое и отрешённое. Скрюченные пальцы, застывшие в судороге, причудливо топорщатся на груди. Намертво застывшие в последний момент в каком-то неистовом хватательном движении, они кажутся особенно жуткими. Однако ловко пристроенная в пальцах свеча отвлекает и успокаивает.

В распахнутую дверь видно белую стену сарая и женщину, гонящую хлопучкой несметный рой мух, прилетевший на приторный дух покойного. Всё это надо хорошенько запомнить. И я запоминаю. Покойник молод, с чернявыми усиками и родинкой на правой щеке. В нём уже нет ничего примечательного, но я знаю, что мать будет спрашивать меня обо всём, и зорко высматриваю следующее. Он лежит в черном новом костюме и новой белой рубашке при галстукке. Его лоб опоясывает какая-то бумажка с рисунками. Никто не плачет. Через мгновение начинается вынос. Высокий могильщик решительно прерывает женщину, читающую молитву, и громогласно, с поклоном обращается к покойному.

– Прости нас ради Бога нас, Павел Андреевич. Пора. Не поминай нас лихом. Пусть земля тебе будет пухом.

Детей на кладбище не берут. Зато быстро сажают за поминальный обед. Всё необыкновенно аппетитно. Я ем, вытираю рот ладошкой и с чувством исполненного долга выскальзываю из-за стола.

Домой возвращаюсь как раз в тот самый момент, когда мать, страшно бранясь и проклиная всё на свете, вытаскивает Мурку из духовки. Кто бы мог подумать, что кто-то среди лета начнёт топить печку?! Проклятая сырость. Я переступаю порог именно в тот момент, когда Мурка, странно выгнутая дугой, камнем падает на пол. В комнате полно дыму, и это, тем не менее, не мешает матери увидеть меня. Она роняет ухват и кидается лупить меня, крича непонятные, какие-то сумбурные отрывистые фразы.

– Один грех от тебя!.. Кулёма!..

Слёзы и дым разъедают её глаза. Смертный ужас охватывает меня. Это дико. Я никогда ещё не видела мать плачущей. И вот, кажется, она плачет. Плачет и кричит, что всё горе из-за меня. И разор в её судьбе, и гибель Мурки, и бедный Павлик. Всё из-за меня.

– Слышишь, всё! Да если бы не ты, разве я сошлась бы снова с твоим отцом?..

И я сразу вспоминаю другую жизнь. Жизнь без матери. Всю ту цепочку событий, которая, так или иначе, делает меня невольной виновницей гибели дяди Павлика и моей бедной любимой Мурки.

Помню фиолетовые георгины. Их пахучие курчавые шапки на крепких стеблях. Мать рвёт их мне в дорогу и тихо наставляет меня, как жить дальше.

– Не разрешай отцу жениться на чужой тётеньке. Ни в какую не разрешай. Сказку про Алёнушку и её злую мачеху помнишь? То-то.

Мне становится неудобно, но отец любит меня больше, чем моя мать, и я безоглядно соглашаюсь всё-таки ехать с ним.

Конечно, в городе на отца сразу же положили глаз несколько женщин. Отец был видным мужчиной и образцовым отцом. Он одевал меня как куколку, и многие чужие тётеньки просто таяли от умиления и восторга: «Какой мужчина!» Особенно запомнилась веснушчатая, но красивая Маруся из книжного магазина. Напрасно же она искала ключ к моему сердцу и дарила мне детские книжки. Фиолетовые георгины, как заклинания, тотчас всплывали перед моими глазами. Я была неприступна, как крепость. Потом пришёл Новый год с ворохом разных подарков и всякой вкуснятины. По-моему, мы с отцом просто объелись и глухо затосковали. Вдруг начали рисовать новыми карандашами зимушку-зиму и наш родной посёлок, сначала озорничая, карикатурно, а потом уже всерьёз, старательно, с любовью и азартом, до иступления. Когда я нарисовала наш покинутый дом на бугре, маму и братишку, отец ещё крепился. Но когда я нарисовала возле дома себя, катающуюся на санках, да ещё пса Муратку и дымок из трубы – отец заплакал.

Отец плакал как маленький, положив голову на рисунок, и тревожный образ веснушчатой Маруси, побледнев, начал отступать куда-то в туман, на задворки па-

мяти. Так была предрешена дальнейшая моя судьба и судьба дяди Павлика, который, не ведая ни о чём, звал в это самое время мою мать уехать с ним на заработки в Якутск.

И вот мы снова живём все вместе, и отец ничего не знает о дяде Павлике, как мать ничего не знает о веснушчатой тётеньке Марусе. Но красивая Маруся из книжного магазина далеко, а дядя Павлик снова приходит летом и стоит у калитки. Он в новом дорогом костюме, кудрявый, с усиками и при галстуке. Он настойчиво приходит и приходит, и мать посылает меня к нему с одной и той же просьбой оставить её в покое. Но он уже не мыслит своей жизни без моей мамы. В который раз Павлик стоит у ворот, и Муратка злобно облаивает его, готовый сорваться с цепи и разорвать его в клочья. Совсем скоро должен прийти отец. И мать не выдерживает.

Они отходят от дома подальше и мучительно долго разговаривают, стоя друг против друга на солнцепёке.

– Нет, – говорит мать. – Поздно. Поздно что-либо менять в моей жизни. Девочка любит отца, да и младший... Поздно.

– Без тебя мне одна дорога – в ад! – легкомысленно улыбаясь, говорит Павлик. – Завела ты меня, так хоть дорогу назад покажи.

– Куда? – удивляется мать.

– Куда Макар телят не гонял. Завела, заблудила...

– У тебя ещё все впереди, – укоризненно качает головой она.

– Не спорю, – снова глупо улыбается Павлик, и его полудетское лицо бледнеет.

– Иди и не поминай лихом, – твёрдо произносит мать.

– Так по какой корочке? По левой или по правой? – ещё глупее и натянутое улыбаясь, спрашивает он и оглядывается.

Слева у нас тропинка вдоль речки, дальше тёмный колхозный сад и горы, справа шоссе и затон с ледяной подземной водой. И хотя по шоссе ходить веселее, мать мягко отрезает:

– Иди как знаешь! Прощай!

Она уходит, неловко ступая по мягкой траве, поднимается на бугор и старается не смотреть мне в глаза.

– Так по какой ко-р-р-оче? – холодно и злобно бросает Павлик ей вслед. – В ту или в ту?..

Матери передаётся его нервозность. Она резко оборачивается и говорит сквозь зубы:

– Как знаешь, – и показывает направо.

На следующий день скрюченного от судорог Павлика достанут со дна ледяного затона.

Наверняка я никогда не запомнила бы этого страшного утопленника, никогда не узнала бы печальную историю его любви, если бы не тот злосчастный случай с Муркой: «Всё из-за тебя; слышишь, да если бы не ты...».

Не знаю, кого матери было тогда жаль больше – кошку или бедного Павлика. Вряд ли она любила его. Она быстро его забыла и даже не поинтересовалась ни разу, где могила покойного.

Цветущая женщина

Продали дом, уехали во Фрунзе. Да только ни счастья того, ни красоты такой больше не сыскали.

Вскоре отец уйдёт от нас насовсем. А мать будет менять потом дома до старости.

И вот проклятье-то в чём: особняки раз от разу будут всё хуже и хуже, а усадьбы и сады в них всё меньше, тесней и отчуждённее, как новые мужья матери – всё мельче да неказистее, по сравнению с отцом, год от года всё моложе и моложе.

Матушка моя хозяйка ухватистая. В доме всегда разносолы, варенья, салаты на столе. В саду всё цветёт и пахнет у ней.

Цветущая женщина – цветущий сад. Дельфиниумы у неё цвели всем на зависть. Георгины. А ещё такой цветок был – золотой шар назывался. В человеческий рост вымахивал. Вся усадьба в живности: собаки, кошки, ежи, декоративные петушки, даже обезьянка Феня жила. Мать моложавая, красивая, с бюстом как у Брижжид Бардо. Лгнули к ней молоденькие любовники, как осы на виноград.

Раз двенадцать выходила она замуж, и всё по нисходящей. Было время, когда мне исполнилось двадцать восемь лет, а отчиму моему смазливенькому аккурат двадцать пять стукнуло. Был он маленьким агентом по каким-то делам и не последним у матушки.

Последний был ещё моложе. Сдаётся мне, работал он каталой и мазуриком. В карты играл. Врезалось почему-то в память, как он вместо слова король говорил «корёл». Табор цыганский приводил в дом. Ох и повеселилась моя матушка на старости лет, поохотала родимая, пображничала. Меняла она их как перчатки. Как там у Апухтина?..

*...Грек из Одессы и жид из Варшавы,
Юный корнет и седой генерал,
Каждый искал в ней любви и забавы
И на груди у неё засыпал...*

В золоте ходила, ела на серебре. Помню, однажды сильно мне понравились её золотые босоножки. Как уж я просила подарить их, даже бусы ей из яшмы свои отдала. Нет, никогда ничего родимая мне не дарила и не баловала. Не любила она меня. Из-за хахалей своих. Как на соперницу смотрела. Да и сейчас, честно сказать, не перекипело у неё. Семьдесят два года, а ни за что не дашь ей больше пятидесяти. И разговоры – кипящей страстями куртизанки. Нет-нет да и попеняет мне с гордостью, мол, завидуй! Зря ты свою жизнь прожила, – не изменяла мужу, а ведь старый он у тебя, нехристь лысый. Не было у тебя женской судьбы. Лыдача ты. Венеры бедное дитя! Мол, живёшь с одним, на одном месте – жизни не видала, ы-ых – рыба кровь! Не наша! Не наша... Не казачка ты. В хохла Ивана пошла или в бабку Калинину – тяжёлая на подъем. Никогда богатой не будешь. А у меня не проси...

Как-то спрошу у няни своей у тётки Анны Свистуновой: так и так мол, с чего это я вдруг не ваша, кто и откуда мы?

– Игру казаки-разбойники помнишь? – усмехнулись обе няньки мои Анна и Маруся. – Вот и не гордись, что – крапивное семя. Из кубанских казаков мы, кержаки да купечество, правильных нет, кулаки да острожники, чем гордится маманя твоя – не знаю, а уж про бастардов этих казачьих молчала бы, – бандитьё, головорезы, лихое племя. А других здесь мало, все коренные переселенцы из казачества, тятя наш до сих пор вон – в военном ходит, это уже на генетическом уровне. Ты послушай, как они «Шарлатюгу» поют, когда бражки напьются. Бандитьё! Тятя пьёт, поёт и плачет, поёт и плачет, а почто плачет сын есаула царской армии? По сокровищу плачет отвоёванному... По Иссык-Кулю синему. Как это Пржевальский сказал – аквамарин в серебряной оправе гор... По макам алым, как яхонты, плачет... Да один у сокровищ рок – густо полит он кровушкой и чужой, и нашей. Так-то вот... Помнит тятя, как спалили церквушку в киргизский бунт, звёзды попу на всю спину выжгли и серпом бороду отрезали. С тех пор на том месте ничего не растёт, кроме карагачей. «Семь монахов» называется роща. Лет по сто им или больше. До сих пор мокнут деревья, будто плачут.

Тётка Анна вздохнула:

– Село наше – бывшая казачья станица. Видишь, у всех голубые ставни – на юг. Казаки окнами «на ночь» – на север домов-то не ставили. Ставни голубым красили.

И вспомню я первый наш дом на Иссык-Куле, с окнами на юг, с любимыми цветами казачек в палисаде – лунники да мальвы. Сама матушка моя, дай ей бог здоровья, где только потом не побывала, в каких только городах не жила. Каких только домов не имела: и в тайге, и в горах, и на болотах.

Будет преследовать её один и тот же сон с домовыми. Частенько мне рассказывала. Мол, как приснится домовой, трясущий причинным местом, так жить невыносимо становится. То соседи взъедятся, то собаки мрут, то вода плохая, то деревья сохнут все на корню.

И нет давно надежды, что отец вернётся к ней назад. Стал он странствующим монахом. Больше никогда не женился. Забрёт время от времени к какой-нибудь вдове, доброе дело сделает – баньку ли сладит, флигель ли поставит... Другой какой-нибудь бобылке полы перекроет, крышу починит. Было – и безногую пожалеет, и старуху древнюю. Той – сараюшку построит, той – станок сделает, рабицы накрутит на загородку и про родственников не забудет. Сыну Игорю – предпринимателю, брату моему в Белгороде, в жестяном цеху рационализацию сделает. Такие станки изобретёт, что вместо восьми человек в цеху достаточно станет одного. Показывал он мне сложнейшие чертежи этих станков. Не понимаю я, как странствующий бож в восемьдесят лет мог допетрить до такого. А сам нищий. От Сахалина до Белгорода прошёл, так и состарился бродягой. Ни кола, ни двора. Живёт у сына в России, по Казахстану тоскует, приедет в Казахстан – в Киргизию его тянет. И наоборот...

Зато Игорь, обогретый отцовской лаской и заботами, возил меня по Белгороду, похихатывая с гордостью:

– Сечёшь? Весь Белгород в наших желобах, художественной ковке, штамповке и флейтах восточных труб! Зело русские мигранты украсили город. Самые красивые дома здесь у алмаатинцев и бишкекцев. Айда домой, на батьковщину. Триста лет дома не были.

Да. Живу себе одна. Бога не тревожу молитвами без нужды.

Дико, зато чисто. Живу, как Бастинда, порой и душ забываю принять, а зачем? Во-первых, зябко. А во-вторых, горные ветры – с юга Санташ, и свежий шалун Улан умыли-облизали и волосы, и кожу. Мне нравится, как пахнут эти ветры. Пахнут они медуницей, горошком, дубравной корой.

– Тью-вить! Царь-царь, царь-царевич, скирлы-скирлы, цыть-цыть! Царь-царей, цюрих-цок, цок-цок, – выводит и урлит утренний кудесник где-то в абрикосовых зарослях, совсем рядом. И мне кажется, я понимаю, о чём говорят птицы. Нет, не свищут, не поют – говорят своими детскими голосами между собой.

– Видел, видел?!

– Каво, каво?

– Витю, Витю!?

– Утёк, утёк...

– Зачем, зачем?

– Пить, пить, пить.

– Чиво, чиво?

– Пиво, пиво...

«Ах ты ясочка моя изумрудная», – шепчу я неведомой пичуге, и распахнувшиеся изо всех своих розовых чар венчики цветов девичье сердце бьются радостно на ветру рядом с моим сердцем.

Продолжение в № 3, 2025.